

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков

Заметки к роману «НЕЗАВЕРШЕННЫЙ РОМАН»

ULTIMA THULE. Впервые: Новый журнал (Нью-Йорк).-1942-№ 1.

SOLUS REX. Впервые: Современные записки.-1940.-№ 70.

История этого текста изложена самим автором: «Зима 1939-40 годов оказалась последней для моей русской прозы... Среди написанного в эти прощальные парижские месяцы был роман, который я не успел закончить до отъезда и к которому уже не возвращался. За вычетом двух глав и нескольких заметок эту незаконченную вещь я уничтожил. Первая глава, под названием «Ultima Thule», появилась в печати в 1942 году... Глава вторая, «Solus Rex», вышла ранее... Быть может, закончи я эту книгу, читателям не пришлось бы гадать: шарлатан ли фальтер? Подлинный ли он провидец? Или же он медиум, посредством которого умершая жена рассказчика пытается донести смутный абрис фразы, узнанной или неузнанной ее мужем. Как бы то ни было, ясно одно: создавая воображаемую страну (занятие, которое поначалу было для него только способом отвлечься от горя, но со временем переросло в самодовлеющую художественную манию), вдовец настолько вжился в Туле, что оно стало постепенно обретать самостоятельное существование. В первой главе Синеусов говорит между прочим, что перебирается с Ривьеры в Париж, на свою прежнюю квартиру; на самом же деле он переезжает в угрюмый дворец на дальнем северном острове. Искусство позволяет ему воскресить покойную жену в облике королевы Белинды – жалкое свершение, которое не приносит ему торжества над смертью даже в мире вольного вымысла. В третьей главе ей предстояло снова погибнуть от бомбы, предназначавшейся ее мужу, на Эгельском мосту, буквально через несколько минут после возвращения с Ривьеры. Вот, пожалуй, и все, что удастся рассмотреть в пыли и мусоре моих давних вымыслов...

Истинный читатель несомненно узнает искаженные отголоски моего последнего русского романа в книге «Под знаком незаконнорожденных» (1947) и особенно в «Бледном огне» (1962). Меня эти отзвуки слегка раздражают, но больше всего я сожалею о его незавершенности потому, что он, как кажется, должен был решительно отличаться от всех остальных моих русских вещей качеством расцветки, диапазоном стиля, чем-то не поддающимся определению в его мощном подводном течении...»

(Цит. по: Набоков В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, рецензии. – М.: Книга, 1989-с. 501-502).

Глава 1. Ultima Thule

Помнишь, мы как-то завтракали (принимали пищу) года за два до твоей смерти? Если, конечно, память может жить без головного убора. Кстатическая мысль: вообразим новейший письменник. К безрукому: крепко жму вашу (многоточие). К покойнику: призрачно ваш. Но оставим эти виноватые виньетки. Если ты не помнишь, то я за тебя помню: память о тебе может сойти, хотя бы грамматически, за твою память, и ради крашеного слова вполне могу допустить, что если после твоей смерти я и мир еще существуем, то лишь благодаря тому, «то ты мир и меня вспоминаешь. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому поводу. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому случаю. Сейчас обращаюсь к тебе только затем, чтобы поговорить с тобой о фальтере. Вот судьба! Вот тайна! Вот почерк! Когда мне надоедает уверять себя, что он полоумный или квак (как на английский лад ты звала шарлатанов), я вижу в нем человека, который... который... потому, что его не убила бомба истины, разорвавшаяся в нем... вышел в боги! – и как же ничтожны перед ним все прозорливцы прошлого: пыль, оставляемая стадом на вечерней заре, сон во сне (когда снится, что проснулся), первые ученики в нашем герметически закрытом учебном заведении: он-то вне нас, в яви, – вот раздутое голубиное горло змеи, чарующей меня. Помнишь, мы как-то завтракали в ему принадлежавшей гостинице, на роскошной, многоярусной границе Италии, где асфальт без конца умножается на глицинии и воздух пахнет резиной и раем? Адам фальтер тогда был еще наш, и если ничто в нем не предвещало – как это сказать? – скажу: прозрения, – зато весь его сильный склад (не хрящи, а подшпники, карамбольная связность телодвижений, точность, орлиный холод) теперь, задним числом, объясняет то, что он выжил: было из чего вычитать.

О, моя милая, как улыбнулось тобой с того лукоморья, – и никогда больше, и кусаю себе руки, чтобы не затрястись, и вот не могу, съезжаю, плачу на тормозах, на б

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru и на у, и все это такая унижительная физическая чувшь: горячее мигание, чувство удушья, грязный платок, судорожная, вперемежку со слезами, зевота, – ах не могу без тебя... и, высморкавшись, переглотив, вот опять начинаю доказывать стулу, хватая его, столу, стуча по нему, что без тебя не бобу. Слышишь ли меня? Банальная анкета, на которую не откликаются духи, – но как охотно за них отвечают односмертники наши; я знаю! (пальцем в небо) вот позвольте я вам скажу... Милая твоя голова, ручеек виска, незабудочная серость косящего на поцелуй глаза, тихое выражение ушей, когда поднимала волосы, как мне примириться с исчезновением, с этой дырой в жизни, куда все теперь осыпается, скользит, вся моя жизнь, мокрый гравий, предметы, привычки... и какая могильная ограда может помешать мне тихо и сытно повалиться в эту пропасть. Душекружение. Помнишь, как тотчас после твоей смерти я выбежал из санатория и не шел, а как-то притоптывал и даже пританцовывал (прищепив не палец, а жизнь), один на той витой дороге между чрезвычайно чешуйчатых сосен и колющих щитов агав, в зеленом забронированном мире, тихонько подтягивавшем ноги, чтобы от меня не заразиться. О да, все кругом опасно и внимательно молчало, и только когда я смотрел на что-нибудь, это «что-нибудь», спохватившись, принималось деланно двигаться или шелестеть или жужжать, словно не замечая меня. «Равнодушная природа» – какой вздор! Сплошное чурание, вот это вернее.

Жалко же. Такая была дорогая. И, держась снутри за тебя, за пуговку, наш ребенок за тобой последовал. Но, мой бедный господин, не делают женщине брюха, когда у нее горловая чахотка. Невольный перевод с французского на адский. Умерла ты на шестом своем месяце и унесла остальные, как бы не погасив полностью долга. А как мне хотелось, сообщил красноносый вдовец стенам, иметь от нее ребеночка. *Etes vous tout a fait certain, docteur, que la science ne connait pas de ces cas exceptionnels* ош l'enfant naot dans la tombe? (Вы совершенно уверены, доктор, что наука не знает таких исключительных случаев, когда ребенок рождается в могиле? (Франц.)) И сон, который я видел: будто этот чесночный доктор (он же не то фальтер, не то Александр Васильевич) необыкновенно охотно отвечал, что да, как же, это бывает, и таких (то есть посмертно рожденных) зовут трупсиками.

Ты-то мне еще ни разу с тех пор не приснилась. Цензура, что ли, не пропускает, или сама уклоняешься от этих тюремных со мной свиданий. Первое время я суеверно, унижительно, подлый невежда, боялся тех мелких Тресков, которые всегда издает комната по ночам, но которые теперь страшной вспышкой отражались во мне, ускоряя бег кудахтающего низкокрылого сердца. Но еще хуже были ночные ожидания, когда я лежал и старался не думать, что ты вдруг можешь мне ответить стуком, если об этом подумаю, но это значило только усложнять скобки, фигурные после простых (думал о том, что стараюсь не думать), и страх в середине рос да рос. Ах, как был ужасен этот сухонький стук ноготка внутри столешницы, и как не похож, конечно, на интонацию твоей души, твоей жизни. Вульгарный дух с повадками дятла, или бесплотный шалун, призрак-пошляк, который пользуется моим голым горем. Днем же, напротив, я был смел, я вызывал тебя на любое проявление отзывчивости, пока сидел на камушках пляжа, где когда-то вытягивались твои золотые ноги, – и как тогда волна прибегала, запыхавшись, но, так как ей нечего было сообщить, рассыпалась в извинениях. Камни, как кукушкины яйца. кусок черепицы в виде пистолетной обоймы, осколок топазового стекла, что-то вроде мочального хвоста, совершенно сухое, мои слезы, микроскопическая бусинка, коробочка из-под папирос, с желтобородым матросом в середине спасательного круга, камень, похожий на ступню помпеянца, чья-то косточка или шпатель, жестянка из-под керосина, осколок стекла гранатового, ореховая скорлупа, безотносительная ржавка, фарфоровый иверень, – и где-то ведь непременно должны были быть остальные, дополнительные к нему части, в я воображал вечную муку, каторжное задание, которое служило бы лучшим наказанием таким, как я, при жизни слишком далеко забегавшим мыслью, а именно: найти и собрать все эти части, чтобы составить опять тот соусник, ту супницу, – горбатые блуждания по дико туманным побережьям, а ведь если страшно повезет, то можно в первое же, а не триллионное утро целиком восстановить посудину – и вот он, этот наимучительнейший вопрос везения, лотерейного счастья, – того самого билета, без которого, может быть, не дается благополучия в вечности.

В эти ранние весенние дни узенькая полоса гальки проста и пуста, но по набережной надо мной проходили гуляющие, и кто-нибудь, я думаю, говорил, глядя на мои лопатки: вот художник Синеусов, на днях потерявший жену. И, вероятно, я бы так просидел вечно, ковыряя сухой морской брак, глядя на спотыкавшуюся пену, на фальшивую нежность длинных сериных облачков вдоль горизонта и на темно-лиловые тепловые подточины в студеной сине-зелени моря, если бы

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
действительно кто-то с панели меня не узнал.

Но (путаясь в рваных шелках слога) возвращаюсь к фальтеру. Как ты теперь вспомнила, мы однажды отправились туда, ползя в этот жарчайший день как два муравья по ленте цветочной корзины, потому что мне было любопытно взглянуть на бывшего моего репетитора, уроки которого сводились к остроумной полемике с Краевичем, а сам был упругий и опрятный, с большим белым носом и лаковым пробором; по этой прямой дорожке он потом и пошел к коммерческому счастью, а отец его, Илья фальтер, был всего лишь старшим поваром у Менара, повар ваш Илья на боку. Ангел мой, ангел мой, может быть, и все наше земное ныне кажется тебе каламбуром, вроде «ветчины и вечности» (помнишь?), а настоящий смысл сущего, этой пронзительной фразы, очищенной от странных, сонных, маскарадных толкований, теперь звучит так чисто и сладко, что тебе, ангел, смешно, как это мы могли сон принимать всерьез (мы-то, впрочем, с тобой догадывались, почему все рассыпается от прикосновения исподтишка: слова, житейские правила, системы, личности, – так что, знаешь, я думаю, что смех–это какая-то потерянная в мире случайная обезьянка истины).

И вот я увидел его опять после двадцатилетнего, что ли, перерыва, и оказалось, что я правильно делал, когда, приближаясь к гостинице, трактовал все ее классические прикрасы, – кедр, эвкалипт, банан, терракотовый теннис, автомобильный загон за газоном, – как церемониал счастливой судьбы, как символ тех поправок, которых требует теперь Прошлый образ фальтера. За годы разлуки со мной, вполне нечувствительной для обоих, он из бедного жилистого студента с живыми как ночь глазами и красивым крепким налево накрененным почерком, превратился в осанистого, довольно полного господина, сохранив при этом и живость взгляда, и красоту крупных рук, но только я бы никогда не узнал его со спины, т. к. вместо толстых гладких, в скобку остриженных волос, виднелась посреди черного пуха коричневая от загара плешь почти иезуитской формы. В шелковой, цвета пареной репы рубашке, с клетчатым галстуком, в широких гриперловых панталонах и пегих туфлях, он показался мне ряженым, но большой нос был все тот же, и им-то он безошибочно почуял тонкий запах прошлого, когда, подойдя, я хлопнул его по мускулистому плечу и задал ему мою загадку. Ты стояла чуть поодаль, сдвинув голые лодыжки на кубовых каблуках и сдержанно, с лукавым интересом оглядывая обстановку громадного пустого в этот час холла, гиппопотамовую кожу кресел, строгого стиля бар, английские журналы на стеклянном столе, нарочно простые фрески, изображающие жидкогрудых бронзоватых дев на золотом фоне, одна из которых, с параллельными прядями стилизованных волос, спадающих вдоль щеки, почему-то стояла на одном колене. Могли ли мы думать, что хозяин всей этой красоты когда-нибудь перестанет ее видеть? Ангел мой... Пока что, приняв мои руки в свои, сжимая их, морща переносицу и вглядываясь, в меня темными прищуренными глазами, он выдерживал ту паузу, прерывающую жизнь, которую выдерживает собирающийся чихнуть, не совсем еще зная, удастся ли это, – но вот удалось, вспыхнуло прошлое, и он громко назвал меня по имени. Он поцеловал твою ручку, не наклоняя головы, и благожелательно засуетясь, явно наслаждаясь тем, что я, бывший человек, теперь застал его в полном блеске той жизни, которую он сам создал силой своей ваятельской воли, усадил нас на террасе, заказал коктейли и завтрак, познакомил нас со своим зятем, интеллигентным человеком в темном партикулярном платье, странно отличавшемся от экзотического франтовства самого фальтера. Мы попили, поели, поговорили о прошлом, как о тяжело больном, мне удалось сбалансировать нож на спинке вилки, ты приласкала чудную нервную собаку, явно боящуюся хозяина, – и после минуты молчания, среди которого фальтер вдруг отчетливо сказал «Да», словно кончая консилиум, расстались, пообещав друг другу то, что ни он, ни я не собирались сдержать. Ты ничего не нашла замечательного» нем, не правда ли?

И точно, ух как заезжен этот тип, в серой молодости содержавший спившегося отца при помощи уроков, а затем медленно, упрямо и бодро добившийся благосостояния, ибо кроме не очень доходной гостиницы у него были виноторговые дела, шедшие весьма успешно. Но, как я потом понял, ты была неправа, когда говорила, что это скучновато, что от таких энергичных удачников всегда несет потом. Нет, теперь я безумно завидую основной черте бывшего фальтера, точности и крепости его «волевой субстанции», как, помнишь, совсем по другому поводу выражался бедный Адольф. Сидел ли он в окопе или в канцелярии, спешил ли на поезд, вставал ли в темное утро в нетопленной комнате, налаживал ли деловые связи, преследовал ли кого-нибудь дружбой или враждой, он не только всегда владел всеми своими способностями, не только всегда жил со взведенным курком, но всегда был уверен, что сегодняшней и завтрашней, и всей череды постепенных своих целей он добьется

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru непременно, и притом работал экономно, ибо метил невысоко я точно знал границу своих возможностей. Его главная заслуга перед собой та. что он сознательно обходил собственные таланты, делая ставку на дюжинное, общепринятое, а ведь он был одарен странными, чем-то обаятельными способностями, которые другой, менее осмотрительный, постарался бы практически применить. Пожалуй, только еще в самой молодости он не всегда умел сдержаться и мешал казенное натаскивание гимназиста по казенному предмету с необыкновенно изящными проявлениями математической мысли, оставлявшими а моей классной какой-то холодок поэзии, когда он, спеша, уходил. Я с завистью думаю, что, обладай я крепостью его нервов, упругостью души, сгущенностью волн, он бы теперь мне передал сущность нечеловеческого открытия, сделанного недавно им, то есть не боялся бы, что сто сообщение меня раздавит; я же со своей стороны был бы достаточно упорен, чтобы заставить его все сказать до конца.

С набережной сипловато и деликатно кто-то меня окликнул, но, так как со дня нашего завтрака с Фальтером прошло больше года, я не сразу узнал в человеке, бросившем на мои камни тень, его смиренного зятя. Из машинальной вежливости я поднялся к нему на панель, и он выразил мне свое болезненное, соболиное: случайно-де заглянул в мой пансион, где добрые люди не только сообщили ему о твоей смерти, но издали указали ему на мою фигуру среди пустого пляжа – фигуру, ставшую некоторого рода достопримечательностью (мне на минуту стало стыдно, что горб моего горя виден со всех террас).

– Мы познакомились у Адама Ильича, – сказал он, показывая корешки резцов и занимая свое место в моем вялом сознании. Я, должно быть, что-то спросил про Фальтера.

– Как, вы разве не знаете? – удивился болтун, и тогда-то я узнал всю историю.

Как-то прошлой осенью Фальтер отправился по делу в винограднейший из приморских городов, и, как обыкновенно, остановился в тихом маленьком отеле, хозяин которого был его давним должником. Надо себе представить этот отель, расположенный под перистой мышкой холма, поросшего мимозником, и не полностью застроенную улочку с полдюжиной каменных дачек, где пели радиолы в небольшом человеческом пространстве между млечным путем и олеандровой дремой, и пустыри, где вырабатывали свой ночной цирк кузнечики, и растворенное окно Фальтера в третьем этаже. Проведя гигиенический вечер в небольшом женском общежитии на Бульваре Взаимности, он, в отличном настроении, с ясной головой и легкими чреслами, вернулся около одиннадцати в отельчик, и сразу поднялся к себе. Пепельное от звезд чело ночи, тихо-безумное ее выражение, роение огней в старом городе, забавная математическая задача, по поводу которой он в прошлом году переписывался со шведским ученым, сухой и сладкий запах, как бы сидящий без мысли и дела там и сям в ямах мрака, метафизический вкус удачно купленного и перепроданного вина, на днях полученное из далекого, мало соблазнительного государства известие о смерти единоутробной сестры, образ которой давно увял в памяти, – все это, мне так представляется, плыло в сознании у Фальтера, пока он шел по улице и потом поднимался к себе, и хотя в отдельности эти мысли и впечатления ничуть не были какими-либо новыми или особенными для этого крепконосого, не совсем заурядного, но поверхностного человека (ибо по своей человеческой сути мы делимся на профессионалов и любителей, – Фальтер, как и я, был любитель), они в своей совокупности образовали быть может наиболее благоприятную среду для вспышки, для катастрофической, как главный выигрыш, чудовищно случайной, никак не предсказанной обиходом его рассудка, сверхжизненной молнии, поразившей его в ту ночь в том отеле.

Минуло около получаса со времени его возвращения, когда собранный сон небольшого белого дома, едва зыблившийся антикомариным крепом да ползучим цветком, был внезапно – нет, не нарушен, а разъят, расколот, взорван звуками, оставшимися незабвенными для слышавших, дорогая моя, эти звуки, эти ужасные звуки. То были не свинные вопли неженки, торопливыми злодеями убиваемого в канаве, и не рев раненого солдата, которого озверелый хирург кое-как освобождает от гигантской ноги, они были хуже, о, хуже... и если уж сравнивать, говорил потом м-сье Раон, hôteîier (Содержатель гостиницы (франц.)), то, пожалуй, они скорее всего напоминали захлебывающиеся, почти ликующие крики бесконечно тяжело рожаящей женщины, но женщины с мужским голосом и с великаном во чреве. Трудно было разобрать, какая главенствовала нота среди этой бури, разрывавшей человеческую гортань – боль, или страх, или труба безумия, или же, и последнее вернее всего, выражение чувства неведомого, и оно-то наделяло вой, вырывающийся из комнаты

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Фальтера, чем-то, что возбуждало в слушателях паническое желание немедленно это прервать. Молодожены в ближайшей постели остановились, параллельно скосив глаза и затаив дыхание, голландец, живший внизу, выкатился в сад, где уже находились экономка и восемнадцать белевших горничных (всего две, размноженные перебежками). Хозяин, сохранивший, по его словам, полное присутствие духа, кинулся наверх и удостоверился, что дверь, за которой продолжался ураган криков, столь мощный, что против него было трудно идти, снутри заперта и не открывается ни на стук, ни на слово. Оружий фальтер (поскольку можно было догадываться, что орет именно он, – его отворенное окно было темно, а невыносимые звуки, исходившие оттуда, не носили печати чьей-либо личности), распространился далеко за пределы дома, и в окрестной черноте набирались соседи, у одного негодяя было пять карт в руке, все козыри. Теперь уже совсем нельзя было постигнуть, как могли чьи бы то ни было связи выдержать... по одним сведениям, фальтер кричал около четверти часа, по другим, пожалуй более достоверным, минут пять подряд. Вдруг (покамест хозяин решал вопрос, взломать ли общими усилиями дверь, приставить ли лестницу извне, или вызвать полицию), крики, достигнув последнего предела муки, ужаса, изумления и того, что никак нельзя было определить, превратились в какое-то месиво стонов и оборвались. Настала такая тишина, что в первую минуту присутствующие переговаривались шепотом.

На всякий случай хозяин опять постучал в дверь, из-за нее донеслись вздохи, неверные шаги, потом стало слышно, как кто-то теревит замок, словно не умея отпереть. Слабый, мягкий кулак зашмякал изнутри. Тогда хозяин сделал то, что, собственно говоря, мог бы сделать гораздо раньше: нашел другой подходящий ключ и отпер.

– Света бы, – тихо сказал фальтер в темноте. Мельком подумав, что он во время припадка разбил лампу, хозяин машинально проверил выключатель... но послушно отверзся свет, и фальтер, мигая, с болезненным удивлением перебежал глазами от руки, давшей свет, к налившейся стеклянной груше, точно впервые видел, как это делается.

Странная, противная перемена произошла во всей его внешности: казалось, из него вынули костяк. Потное и теперь как бы обрюзгшее лицо с отвисшей губой и розовыми глазами выражало не только тупую усталость, но еще облегчение, животное облегчение после чудовищных родов. По пояс обнаженный, в одних пижамных штанах, он стоял, опустив лицо, и тер ладонью одной руки тыльную сторону другой. На естественные вопросы хозяина и жильцов он ничего не ответил, только надул щеки, отстранил подошедших и, выйдя из комнаты, стал обильно мочиться прямо на ступени лестницы. Затем лег на постель и заснул.

Утром хозяин предупредил по телефону его сестру, что фальтер помешался, и полусонный, вялый, он был увезен восвояси. Врач, обычно лечивший у них, предположил наличие ударчика и прописал соответствующее лечение. Но фальтер не поправился. Правда, он через некоторое время качал свободно двигаться, и даже иногда посвистывать, и громко говорить оскорбительные вещи, и хватать еду, запрещенную врачом. Перемена, однако, осталась. Это был человек, как бы потерявший все: уважение к жизни, всякий интерес к деньгам и делам, общепринятые или освященные традиции чувства, житейские навыки, манеры, решительно все. Его был» небезопасно отпустить куда-либо одного, ибо с совершенно поверхностным, быстро забываемым, но обидным для других любопытством, он заговаривал со случайными прохожими, расспрашивал о происхождении шрама на чужом лице или о точном смысле слов, подслушанных в разговоре, не обращенном к нему. Мимоходом он брал с лотка апельсин я ел его с кожей, равнодушной полуулыбкой отвечая на скороговорку его догнавшей торговки. Утомясь или заскучав, он присаживался по-турецки на панель и старался от нечего делать поймать в кулак женский каблук как муху. Однажды он присвоил себе несколько шляп, пять фетровых и две панамы, которые старательно собирал по кафе, – и были неприятности с полицией.

Его состоянием заинтересовался какой-то известный итальянский психиатр, навещавший кого-то в фальтеровой гостинице. Это был не старый еще господин, изучавший, как он сам охотно толковал, «динамику душ» и в печатных работах, весьма популярных не в одних научных кругах, доказывавший, что все психические заболевания объяснимы подсознательной памятью о несчастьях предков пациента и что если больной страдает, скажем, мегаломанией, то для полного его излечения стоит лишь установить, кто из его прадедов был властолюбивым неудачником, и правнуку объяснить, что пращур умер, навсегда успокоившись, хотя в сложных случаях приходилось прибегать чуть ли не к театральному, в костюмах эпохи,

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru действию, изображающему определенный род смерти предка, роль которого давалась пациенту. Эти живые картины так вошли в моду, что профессору пришлось печатно объяснять публике опасность их постановки вне его непосредственного контроля.

Порасспросив сестру фальтера, итальянец выяснил, что предков своих фальтеры не знают, их отец, правда, был не прочь напиться пьяным, не, так как по теории «болезнь отражает лишь давно прошедшее», как, скажем, народный эпос сублимирует лишь давние дела, подробности о фальтере-реге были ему не нужны. Все же он предложил, что попробует заняться больным, надеясь путем остроумных расспросов добиться от него самого объяснения его состояния, после него предки выведутся из суммы сами; что такое объяснение существовало, подтверждалось тем, что, когда удавалось близким проникнуть в молчание фальтера, он кратко и отстранительно намекал на нечто из ряда вон выходящее, испытанное им в ту непонятную ночь.

Однажды итальянец уединился с фальтером в комнате последнего и, так как был сердцевед опытный, в роговых очках и с платочком в грудном карманчике, по-видимому, добился от него исчерпывающего ответа о причине его ночных воплей. Вероятно, дело не обошлось без гипнотизма, так как фальтер потом уверял следователя, что проговорился против воли и что ему было не по себе. Впрочем, он добавил, что все равно, рано или поздно, произвел бы этот опыт, но что уж наверно никогда его не повторит. Как бы то ни было, бедный автор «Героики Безумия» оказался жертвой фальтеровой медузы. Так как задушевное свидание между врачом и пациентом неестественно затянулось, сестра фальтера, вязавшая серый шарф на террасе и уж давно не слышавшая разымчивого, молодецкого или фальшиво-вкрадчивого тенорка, невнятно доносившегося вначале из полуоткрытого окошка, поднялась к брату, которого нашла рассматривающим со скучным любопытством рекламную брошюрку с горко-санаторскими видами, вероятно принесенную врачом, между тем как сам врач, наполовину съехавший с кресла на ковер, с интервалом белья между жилетом и панталонами, лежал растопырив маленькие ноги и откинув бледно-кофейное лицо, сраженный, как потом выяснилось, разрывом сердца. Деловито вмешавшимся полицейским властям фальтер отвечал рассеянно и кратко; когда же наконец эти приставаания ему надоели, он объяснил, что, случайно разгадав «загадку мира», он поддался изощренным увещаниям и поведал се любознательному собеседнику, который от удивления и помер. Газеты подхватили эту историю, соответственно ее изукрасив, и личность фальтера, переодетая тибетским мудрецом, в продолжение нескольких дней подкармливала непривередливую хронику.

Но, как ты знаешь, я в те дни газет не читал: ты тогда умирала. Теперь же, выслушав подробный рассказ о фальтере, я испытал некое весьма сильное и слегка как бы стыдливое желание.

Ты, конечно, понимаешь. В том состоянии, в котором я был, люди без воображения, то есть лишенные его поддержки и изысканий, обращаются к рекламным волшебникам, к хиромантам в маскарадных тюрбанах, промышленяющим промеж магических дел крысиным ядом или розовой резиной, к жирным, смуглым гадалкам, – но особенно к спиритам, подделывающим неизвестную еще энергию под млечные черты призраков и глупо предметные их выступления. Но я воображением наделен, и потому у меня были две возможности: первая из них была моя работа, мое искусство, утешение моего искусства; вторая заключалась в том, чтобы вдруг взять да поверить, что довольно, в сущности, обыкновенный, несмотря на «пти же» бывалого ума, и даже чуть вульгарный человек вроде фальтера действительно и окончательно узнал то, до чего ни один пророк, ни один волшебник никогда-никогда не мог додуматься.

Искусство мое? Ты помнишь, не правда ли, этого странного шведа, или датчанина, или исландца, черт его знает, – словом, этого длинного, оранжево-загорелого блондина с ресницами старой лошади, который рекомендовался мне «известным писателем» и заказал мне за гонорар, обрадовавший тебя (ты уже не вставала с постели и не могла говорить, но писала мне цветным мелком на грифельной дощечке смешные вещи вроде того, что больше всего в жизни ты любишь «стихи, полевые цветы и иностранные деньги»), заказал мне, говоря я, серию иллюстраций к поэме «Ultima Thule», которую он на своем языке только что написал. О том же, чтобы мне подробно ознакомиться с его манускриптом, не могло быть, конечно, речи, так как французский язык, на котором мы мучительно переговаривались, был ему знаком больше понаслышке, и перевести мне свои символы он не мог. Мне удалось понять только, что его герой – какой-то северный король, несчастный и нелюбимый; что в его государстве, в тумане моря, на грустном и далеком острове, развиваются какие-то политические интриги, убийства, мятежи, серая лошадь, потеряв всадника,

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru летит в тумане по вереску... Моим первым blanc et noir (Черно-белый (франц.)) он остался доволен, и мы условились о темах остальных рисунков. Так как он не явился через неделю, как обещал, я к нему позвонил в гостиницу и узнал, что он отбыл в Америку.

Я от тебя тогда скрыл исчезновение работодателя, но рисунков не продолжал, да и ты уже была так больна, что не хотелось мне думать о моем золотом пере и кружевной туши. Но, когда ты умерла, когда ранние утра и поздние вечера стали особенно невыносимы, я с жалкой болезненной охотой, сознание которой вызывало у меня самого слезы, продолжал работу, за которой, я знал, никто не придет, но именно потому она мне казалась кстати, – ее призрачная беспредметная природа, отсутствие цели и вознаграждения, вводила меня в родственную область с той, в которой для меня пребываешь ты, моя призрачная цель, мое милое, мое такое милое земное творение, за которым никто никуда никогда не придет; а так как все отвлекло меня, подсовывая мне краску временности взамен графического узора вечности, муча меня твоими следами на пляже, камнями на пляже, твоей синей тенью на ужасном солнечном пляже, я решил вернуться в Париж, чтобы по-настоящему засесть за работу. «Ultima Thule», остров, родившийся в пустынном и тусклом море моей тоски по тебе, меня теперь привлекал, как некое отечество моих наименее выразимых мыслей.

Однако прежде чем оставить юг, я должен был непременно повидать фальтера. Это была вторая помощь, которую я придумал себе. Мне удалось себя убедить, что он все-таки не просто сумасшедший, что он не только верит в открытие, сделанное им, но что именно это открытие – источник его сумасшествия, а не наоборот. Я узнал, что на осень он переехал в наши места. Я узнал также, что его здоровье слабо, что пыл жизни, угасший в нем, оставил его тело без присмотра и без поощрения; что, вероятно, он скоро умрет. Я узнал, наконец, и это мне было особенно важно, что последнее время, несмотря на упадок сил, он стал необыкновенно разговорчив и целыми днями угощает посетителей – а к нему, увы, проникали другого рода любопытные, чем я, – придирчивыми к механике человеческой мысли, странно извилистыми, ничего не раскрывающими, но по ритму и шипам почти сократовскими разговорами. Я предложил, что посещу его, но его зять мне ответил, что бедняге приятно всякое развлечение и что он достаточно силен, чтобы добраться до моего дома.

И вот они появились, то есть этот самый зять в своем неизменном черном костюмчике, его жена рослая, молчаливая женщина, крепостью и отчетливостью телосложения напоминавшая прежний облик брата и теперь как бы служившая ему житейским укором, смежной нравоучительной картинкой) я сам фальтер... вид которого меня поразил, несмотря на то что я был к перемене подготовлен. Как бы это выразить? Зять говорил, что из фальтера словно извлекли скелет; мне же показалось иначе, что вынуди душу, но зато удесятерили в нем дух. Я хочу этим сказать, что одного взгляда на фальтера было довольно, чтобы понять, что никаких человеческих чувств, практикуемых в земном быту, от него не дождешься, что любить кого-нибудь, жалеть, даже только самого себя, благоволить к чужой душе и ей сострадать при случае, посильно и привычно служить добру, хотя бы собственной пробы, – всему этому фальтер совершенно разучился, как разучился здороваться или пользоваться платком. А вместе с тем он не производил впечатления умалишенного – о нет, совсем напротив! – в его странно рассыревших чертах, в неприятном сытом взгляде, даже в плоских ногах, обутом уже не в модные башмаки, а в дешевые провансальские туфли на веревочных подошвах, чуялась какая-то сосредоточенная сила, и этой силе не было никакого дела до дряблости и явной тленности тела, которым она брезгливо руководила.

В личном отношении ко мне он был теперь не таков, как во время последней короткой нашей встречи, а таков, каким я его помнил по нашим урокам в юности. Не сомневаюсь, что он отлично сознавал, что в календарном смысле с тех пор прошло почти четверть века, а все же, как бы вместе с душой потеряв чувство времени (без которого душа не может жить), он не столько на словах, а в рассуждении всей манеры, явно относился ко мне так, как если бы все это было вчера – и вместе с тем ни малейшей симпатии ко мне, никакого тепла, ничего, ни пылинки.

Его усадили в кресло, и он странно развалился в ней, как рассаживается шимпанзе, которого сторож заставляет пародировать сибарита. Его сестра занялась вязанием и во все время разговора ни разу не приподняла седой стриженной головы. Ее муж вынул из кармана две газеты, местную и марсельскую, и тоже онемел. Только когда фальтер, заметя твою большую фотографию, случайно стоявшую как раз на линии его

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
взгляда, спросил, где же ты, зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как говорят с глухими, проговорил:

– Вы же отлично знаете, что она умерла. – Ах, да, – заметил фальтер с нечеловеческой беспечностью и, обратившись ко мне, добавил: – Что же, царствие ей небесное, – так, кажется, полагается в обществе говорить?

Затем началась следующая между нами беседа; я записал ее по памяти, но, кажется, верно:

– Мне хотелось вас повидать, фальтер, – сказал я (называя его на самом деле по имени-отчеству, но, при переносе, его вневременный образ не терпит этого прикрепления человека к определенной стране и кровному прошлому), – мне хотелось вас повидать, чтобы поговорить с вами откровенно. Если бы вы сочли возможным попросить ваших родственников нас оставить вдвоем... – Они не в счет, – отрывисто заметил фальтер. – Под откровенностью, – продолжал я, – мной подразумевается взаимная возможность задавать любые вопросы и готовность отвечать на них. Но так как вопросы буду ставить я, а ответов ожидаю от вас, то все зависит от того, даете ли вы мне гарантию вашей прямоты; моя вам не требуется.

– На прямой вопрос отвечу прямо, – сказал фальтер. – В таком случае позвольте бить в лоб. Мы попросим ваших родственников на минуточку выйти, и вы скажете мне дословно то, что вы сказали итальянскому врачу. – Вот тебе раз, – проговорил фальтер.

– Вы не можете мне отказать в этом. Во-первых, я от вашего сообщения не умру, – ручаюсь; вы не смотрите, что у меня усталый невзрачный вид, сил найдется достаточно. Во-вторых, я обещаю вашу тайну держать при себе и даже, если хотите, застрелиться тотчас после вашего сообщения. Видите, я допускаю, что моя болтливость вам может быть еще неприятнее, чем моя смерть. Ну так как же, согласны?

– Решительно отказываюсь, – ответил фальтер и скинул со стоявшего рядом с ним столика мешавшую ему облокотиться книгу.

– Ради того, чтобы как-нибудь завязать разговор, я временно примирюсь с вашим отказом. Начнем же с яйца. Итак, фальтер, вам открылась сущность вещей. – После чего точка, – вставил фальтер. – Согласен: вы мне ее не скажете; все же я делаю два важных вывода: у вещей есть сущность, и эта сущность может открыться уму. фальтер улыбнулся:

– Только не называйте это выводами, синьор. Это так – полустанки. Логические рассуждения очень удобны при небольших расстояниях, как пути мысленного сообщения, но круглота земли, увы, отражена и в логике: при идеально последовательном продвижении мысли вы вернетесь к отправной точке... с созданием гениальной простоты, с приятнейшим чувством, что обняли истину, между тем как обняли лишь самого себя. Зачем же пускаться в путь? Ограничьтесь этим положением-открылась сущность вещей, – в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка; я объяснить ее вам не могу, так как малейший намек на объяснение уже был бы проблеском. При неподвижности положения ошибка незаметна. Но все, что вы зовете выводом, уже вскрывает порок: развитие роковым образом становится свитком.

– Хорошо, удовлетворюсь покамест этим. Теперь позвольте мне вопрос. Гипотезу, пришедшую на ум ученому, он проверяет выкладкой и испытанием, то есть мимикрией правды и ее пантомимой. Ее правдоподобие заражает других, и гипотеза почитается истинным объяснением данного явления, покуда кто-нибудь не найдет в ней погрешности. Если не ошибаюсь, вся наука состоит из таких опальных, или отставных, мыслей: а ведь каждая когда-то ходила в чинах; осталась слава или пенсия. В вашем же случае, фальтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то другой метод нахождения и проверки. Можно ли назвать его – откровением? – Нельзя, – сказал фальтер.

– Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша уверенность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ проверить находку, либо сознание истины заложено в ней.

– Видите ли, – отвечал фальтер, – в Индокитае, при розыгрыше лотереи, номера

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другой образ: в стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший; но никто не знал, что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел. Но, может быть, проще всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непременно математической игривости, – математика, предупреждаю вас, лишь вечная чехарда через собственные плечи при собственном своем размножении, – я комбинировал различные мысли, ну и вот скомбинировал и взорвался, как Бертгольд Шварц. Я выжил; может быть, выжил бы и другой на моем месте. Но после случая с моим прелестным врачом у меня нет ни малейшей охоты возиться опять с полицией.

– Вы разогреваетесь, Фальтер. Но вернемся к главному: что именно вам говорит, что это есть истина? Обезьяна чужда жребию.

– Истин, теней истин, – сказал Фальтер, – на свете так мало, – в смысле видов, а не особей, разумеется, – а те, что налицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... как бы сказать... отдача при распознавании истины, мгновенный отзыв всего существа – явление мало знакомое, мало изученное. Ну, еще там у детей... когда ребенок просыпается или приходит в себя после скарлатины... электрический разряд действительности, сравнительной, конечно, действительности, другой у вас нет. Возьмите любой триумф, т. е. труп сравнительной истины. Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас вызывают слова: черное темнее коричневого, или лед холоден. Мысль ваша ленится даже привстать, как если бы все тот же учитель раз сто за один урок входил и выходил из вашего класса. Но ребенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий замок калитки. Оставим в стороне физическую боль, или гордость собственного открытия, ежели оно из приятных, – не это есть настоящая реакция на истину. Видите, так мало известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова... Все нервы разом отвечают «да» – так, что ли. Откинем и удивление, как лишь непривычность усвоения предмета истины, не ее самой. Если вы мне скажете, что такой-то – вор, то я, немедленно соображая в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал, все же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь порядочным, на самом деле мошенник, но истина уже мною незаметно впитана, так что самое мое удивление тотчас принимает обратный образ (как это такого явного мошенника можно было считать честным); другими словами, чувствительная точка истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и вторым.

– Так. Это все довольно ясно. – Удивление же, доведенное до потрясающих, невообразимых размеров, – продолжал Фальтер, – может подействовать крайне болезненно, и все же оно ничто в сравнении с самим ударом истины. И этого уже не «впитаешь». Она меня не убила случайно – столь же случайно, как грянула в меня. Сомневаюсь, что при такой силе ощущения можно было бы думать о его проверке. Но постфактум такая проверка может быть осуществлена, хотя в ее механизме я лично не нуждаюсь. Представьте себе любую проходную правду, – скажем, что два угла, равные третьему, равны между собой; заключено ли в этом утверждении то, что лед горяч или что в Канаде есть камни? Иначе говоря, данная истинка никаких других родовых истинок не содержит, а тем менее таких, которые принадлежали бы к другим породам и плоскостям знания или мышления. Что же вы скажете об истине, которая заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений? Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег, но ни то, ни другое не предопределяет веры в гомеопатию идя в необходимость истреблять антилоп на островках озера Виктория Ньянджи; но, узнав то, что я узнал, – если можно это назвать узнаванием, – я получил ключ решительно ко всем дверям и шкапулкам в мире, только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значении уже сама по себе переходит во веки серию откидываемых крышек. Я могу сомневаться в моей физической способности представить себе до конца все последствия моего открытия, то есть в какой мере я еще не сошел с ума или, напротив, как далеко оставил за собой все, что понимается под помешательством, – но сомневаться никак не могу в том, что мне, как вы выразились, «открылась суть». Воды, пожалуйста.

– Вот вам вода. Но позвольте, Фальтер, правильно ли я понял вас? Неужели вы отныне кандидат всепознания? Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-то главное, но в ваших словах нет конкретных признаков абсолютной мудрости.

– Берегу силы, – сказал Фальтер. – Да я и не утверждал, что теперь знаю все, – например, арабский язык, или сколько раз вы в жизни брились, или кто набирал

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru строки вон в той газете, которую читает мой дурак-зять. Я только говорю, что знаю все, что мог бы узнать. То же может сказать всякий, просмотрев энциклопедию, не правда ли, но только энциклопедия, точное заглавие которой я узнал (вот, кстати, даю вам более изящный термин: я знаю заглавие вещей), действительно всеобъемлющая – и вот в этом разница между мною и самым сведущим человеком. Видите ли, я узнал – и тут я вас подвожу к самому краю итальянской пропасти, – дамы, не смотрите, – я узнал одну весьма простую вещь относительно мира. Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может счесть ее чудовищной. Когда я сейчас скажу «соответствует», я под соответствием буду понимать нечто бесконечно далекое от всех соответствий, вам известных, точно так же как самая природа моего открытия ничего не имеет общего с природой физических или философских домыслов: итак, то главное во мне, что соответствует главному в мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил. Вместе с тем возможное знание всех вещей, вытекающее из знания главной, не располагает во мне достаточно прочным аппаратом. Я усилием воли приучаю себя не выходить из клетки, держаться правил вашего мышления, как будто ничего не случилось, то есть поступаю, как бедняк, получивший миллион, а продолжающий жить в подвале, ибо он знает, что малейшей уступкой роскоши он загубит свою печень.

– Но сокровище есть у вас, фальтер, – вот что мучительно. Оставим же рассуждения о вашем к нему отношении и потолкуем о нем самом. Повторяю, ваш отказ дать мне взглянуть на вашу медузу принят мною к сведению, а кроме того, я готов не делать даже самых очевидных заключений, потому что, как вы намекаете, всякое логическое заключение есть заключение мысли в себе. Я вам предлагаю другой метод вопросов и ответов: я вас не стану спрашивать о составе вашего сокровища, но ведь вы не выдадите его тайны, если скажете мне, лежит ли око на востоке, или есть ли в нем хоть один топаз, или прошел ли хоть один человек в соседстве от него. При этом если вы ответите на любой из моих вопросов утвердительно или отрицательно, я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнейшего продвижения однородных вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор.

– Теоретически вы увлекаете меня в грубую ловушку, – сказал фальтер, слегка затрясаясь, как если б смеялся. – На практике же это есть ловушка, лишь поскольку вы способны задать мне хоть один вопрос, на который я мог бы ответить простым да или нет. Таких шансов весьма мало. Посему, если вам нравится пустая забава, – пожалуйста, валяйте. Я подумал и сказал:

– Позвольте мне, фальтер, начать так, как начинает традиционный турист, с осмотра старинной церкви, известной ему по снимкам. Позвольте мне спросить вас: существует ли Бог?

– Холодно, – сказал фальтер. Я не понял и переспросил.

– Бросьте, – огрызнулся фальтер. – Я сказал «холодно», как говорится в игре, когда требуется найти запрятанный предмет. Если вы ищете под стулом или под тенью стула и предмета там быть не может, потому что он просто в другом месте, то вопрос существования стула или тени стула не имеет ни малейшего отношения к игре. Сказать же, что, может быть, стул-то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что, может быть, предмет-то там, но стула не существует, то есть вы опять попадаетесь в излюбленный человеческой мыслью круг.

– Но согласитесь, фальтер, если вы говорите, что искомое не находится ни в каком соседстве с понятием Бога, а искомое это есть по вашей терминологии «заглавное», то, следовательно, понятие о Боге не есть заглавное, а если так, то нет заглавной необходимости в этом понятии, и раз нет нужды в Боге, то и Бога нет.

– Значит, вы не поняли моих слов о соотношении между возможным местом и невозможностью в нем нахождения предмета. Хорошо, скажу вам яснее. Тем, что вы упомянули о данном понятии, вы себя самого поставили в положение тайны, как если бы ищущий спрятался сам. Тем же, что вы упорствуете в своем вопросе, вы не только сами прячетесь, но еще верите, что, разделяя с искомым предметом свойство «спрятанности», вы его приближаете к себе. Как я могу вам ответить, есть ли Бог, когда речь, может быть, идет о сладком горошке или футбольных флажках? Вы не там и не так ищете, шер мосье, вот все, что я могу вам ответить. А если вам кажется, что из этого ответа можно сделать малейший вывод о ненужности или нужности Бога, то так получается именно потому, что вы не там и не так ищете. А не вы ли обещали, что не будете мыслить логически?

– Сейчас понимаю и вас, фальтер. Посмотрим, как вам удастся избежать прямого утверждения. Итак, нельзя искать заглавия мира в иероглифах божества?

– Простите, – ответил фальтер. – Посредством цветистости слога и грамматического трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое да. Я сейчас только отрицаю. Я отрицаю целесообразность искания истины в области общепринятой теологии, – а во избежание лишней работы со стороны вашей мысли спешу добавить, что употребленный мной эпитет – тупик. Не сворачивайте туда. Я прекращу разговор за неимением собеседника, если вы воскликнете «Ага, есть другая истина!» – ибо это будет значить, что вы так хорошо себя запрятали, что потеряли себя.

– Хорошо. Поверю вам. Допустим, что теология засоряет вопрос. Так, фальтер?

– Барыня прислала сто рублей, – сказал фальтер, – Ладно, оставим и этот неправильный путь. Хотя, вероятно, вы могли бы мне объяснить, почему именно он неправилен (ибо тут есть что-то странное, неуловимое, заставляющее вас сердиться), и тогда мне было бы ясно ваше нежелание отвечать?

– Мог бы, – сказал фальтер, – но это было бы равносильно раскрытию сути, то есть как раз тому, чего вы от меня не добьетесь.

– Вы повторяетесь, фальтер. Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь. – Вам это очень интересно?

– Так же, как и вам, фальтер. Что бы вы ни знали о смерти, мы оба смертны.

– Во-первых, – сказал фальтер, – обратите внимание на следующий любопытный подвох: всякий человек смертен; вы (или я) – человек; значит, вы можете быть и не смертны. Почему? Да потому что выбранный человек тем самым уже перестает быть всяким. Вместе с тем мы с вами все-таки смертны, но я смертен иначе, чем вы.

– Не шпыняйте мою бедную логику, а ответьте мне просто, есть ли хоть подобие существования личности за гробом, или все кончается идеальной тьмой.

– Воп, – сказал фальтер по привычке русских во Франции. – Вы хотите знать, вечно ли господин Синеусов будет пребывать в уюте господина Синеусова, или же все вдруг исчезнет? Тут есть две мысли, не правда ли? Перманентное освещение и черная чепуха. Мало того, несмотря на разность метафизической масти, они чрезвычайно друг на друга похожи. При этом они движутся параллельно. Они движутся даже весьма быстро. Да здравствует тотализатор! У-тю-тю, смотрите в бинокль, они у вас бегут наперегонки, и вы очень хотели бы знать, какая прибежит первая к столбу истины, но тем, что вы требуете от меня ответа, да или нет, на любую из них, вы хотите, чтобы я одну на всем бегу поймал за шиворот – а шиворот у бесенят скользкий, – но если бы я для вас одну из них и перехватил, то просто прервал бы состязание, или добежала бы другая, не схваченная мной, в чем не было бы никакого прока ввиду прекращения соперничества. Если же вы спросите, какая из двух бежит скорее, то отвечу вам вопросом же: что скорее бежит – сильное желание или сильная боязнь? – Думаю, что одинаково. – То-то и оно. Ведь как же получается в рассуждении человечинки, – либо никак нельзя выразить то, что ожидает вас, т. е. нас, за смертью, и тогда полное беспмятство исключается, – ведь оно-то вполне доступно нашему воображению, – каждый из нас испытал полную тьму крепкого сна; либо, наоборот, – представить себе смерть можно, и тогда, естественно, выбирает рассудок не вечную жизнь, т. е. нечто само по себе неведомое, ни с чем земным несообразное, а именно наиболее вероятное – знакомую тьму. Ибо как же в самом деле может человек, доверяющий своему рассудку, допустить, что, скажем, некто мертвецки пьяный, умерший в крепком сне от случайной внешней причины, то есть случайно лишившийся того, чем, в сущности, он уже не обладал, как же это он приобретает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продлению, утверждению и усовершенствованию его неудачного состояния? Поэтому, если бы вы у меня спросили даже только одно – известно ли мне по-человечески то, что находится за смертью, то есть попытались бы предотвратить обреченное на нелепость состязание двух противоположных, но, в сущности, одинаковых представлений, из моего отрицания вы бы логически должны были вывести, что ваша жизнь небытием не может кончиться, а из моего утверждения вывели бы заключение обратное. И в том и в другом случае, как видите, вы бы остались точно в таком же положении, как были всегда, ибо сухое нет доказало бы

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
вам, что я не более вас знаю о данном предмете, а влажное да предложило бы вам  
принять существование международных небес, в котором ваш рассудок не может не  
сомневаться.

– Вы просто увильваете от прямого ответа, но позвольте мне все-таки заметить,  
что в разговоре о смерти вы не отвечаете мне: холодно.

– Вот вы опять, – вздохнул фальтер. – Но я же вам только что объяснил, что  
всякий вывод следует кривизне мышления. Он по-земному правилен, покуда вы  
остаетесь в области земных величин, но когда вы пытаетесь забраться дальше, то  
ошибка растёт по мере пути. Мало того: ваш разум воспримет всякий мой ответ  
исключительно с прикладной точки, ибо иначе чем в образе собственного креста вы  
смерть мыслить не можете, а это в свою очередь так извратит смысл моего ответа,  
что он тем самым станет ложью. Будем же соблюдать пристойность и в  
трансцендентальном. Яснее выразиться не могу – и скажите мне спасибо за  
увильвание. Вы догадываетесь, я полагаю, что тут есть одна загвоздка в самой  
постановке вопроса, загвоздка, которая, кстати сказать, страшнее самого страха  
смерти. Он у вас, по-видимому, особенно силен, не так ли?

– Да, фальтер. Ужас, который я испытываю яри мысли о своем будущем беспамятстве,  
равен только отвращению перед умозрительным тленом моего тела.

– Хорошо сказано. Вероятно, налицо и прочие симптомы этой подлунной болезни?  
Тупой укол в сердце, вдруг среди ночи, как мелькание дикой твари промеж домашних  
чувств и ручных мыслей: ведь я когда-нибудь... Правда, это бывает у вас? Ненависть  
к миру, который будет очень бодро продолжаться без вас... Коренное ощущение, что  
все в мире пустяки и призраки по сравнению с вашей предсмертной мукой, а значит,  
и с вашей жизнью, ибо, говорите вы себе, жизнь и есть предсмертная мука... Да, да.  
я вполне себе представляю болезнь, которой вы все страдаете в той или другой  
мере, и одно могу сказать: не понимаю, как люди могут жить при таких условиях.

– Ну вот, фальтер, мы, кажется, договорились. Выходит так, что если я признался  
бы в том, что в минуты счастья, восхищения, обнажения души я вдруг чувствую, что  
небытия за гробом нет; что рядом в запертой комнате, из-под двери которой дует  
стужей, готовится, как в детстве, многоочитое сияние, пирамида утех; что жизнь,  
родина, весна, звук ключевой воды или милого голоса, – все только путаное  
предисловие, а главное впереди; выходит, что если я так чувствую, фальтер, можно  
жить, можно жить, – скажите мне, что можно, и я больше у вас ничего не спрошу.

– В таком случае, – сказал фальтер, опять затрясаясь, – я еще менее понимаю.  
Перескочите предисловие, – и дело в шляпе!

– Un bon mouvement (одно усилие (франц.)), фальтер, скажите мне вашу тайну.

– Это что же, хотите взять врасплох? Какой вы. Нет, об этом не может быть речи.  
В первое время... Да, в первое время мне казалось, что можно попробовать...  
поделиться. Взрослый человек, если только он не такой бык, как я, не  
выдерживает, допустим, но, думалось мне, нельзя ли воспитать новое поколение  
знающих, т. е. не обратиться ли к детям. Как видите, я не сразу справился с  
заразой местной диалектики. Но на деле что же бы получилось? Во-первых, едва ли  
мыслимо связать ребят порукой жреческого молчания, так, чтобы ни один из них  
мечтательным словом не совершил убийства. Во-вторых, как только ребенок  
разовьется, сообщенное ему когда-то, принятое на веру и заснувшее на задворках  
сознания, дрогнет и проснется с трагическими последствиями. Если тайна моя не  
всегда бьет матерого сапыенса, то никакого юноши она, конечно, не пощадит. Ибо  
кому не знакомо то время жизни, когда всякая всячина – звездное небо в  
Ессентуках, книга, прочитанная в клозете, собственные догадки о мире, сладкий  
ужас солипсизма – и так доводит молодую человеческую особь до исступления всех  
чувств. В палачи мне идти незачем; вражеских полков истреблять через мегафон не  
собираюсь... словом, довериться мне некому.

– Я задал вам два вопроса, фальтер, и вы дважды доказали мне невозможность  
ответа. Мне кажется, было бы бесполезно спрашивать вас о чем-либо еще, скажем, о  
пределах мироздания или о происхождении жизни. Вы мне предложили бы, вероятно,  
удовлетвориться пестрой минутой на второсортной планете, обслуживаемой  
второсортным солнцем, или опять все свели бы к загадке: гетерологично ли самое  
слово «гетерологично».

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
– Вероятно, – подтвердил Фальтер и протяжно зевнул.

Его зять тихонько зачерпнул из жилета часы и переглянулся с супругой.

– Но вот что странно, Фальтер. Как совмещается в вас сверхчеловеческое знание сути с ловкостью площадного софиста, не знающего ничего? Признайтесь, все ваши вздорные отводы лишь изощренное зубоскальство?

– Что же, это моя единственная защита, – сказал Фальтер, косясь на сестру, которая проворно вытягивала длинный серый шерстяной шарф из рукава пальто, уже подаваемого ему зятем. – Иначе, знаете, вы бы добились... Впрочем, – добавил он, не той, потом той рукой влезая в рукав и одновременно отодвигаясь от вспомогательных толчков помощников, – впрочем, если я немножко и покуражился над вами, то могу вас утешить: среди всякого вранья я нечаянно проговорился, – всего два-три слова, но в них промелькнул краешек истины, – да вы по счастью не обратили внимания.

Его увели, и тем окончился наш довольно-таки дьявольский диалог. Фальтер не только ничего мне не сказал, но даже не дал мне подступиться, и, вероятно, его последнее слово было такой же издевкой, как и все предыдущие. На другой день скучный голос его зятя сообщил мне по телефону, что за визит Фальтер берет сто франков; я спросил, почему, собственно, меня не предупредили об этом, и он тотчас ответил, что, в случае повторения сеанса, два разговора мне обойдутся всего в полтораста. Покупка истины, даже со скидкой, меня не прельщала и, отослав ему свой непредвиденный долг, я заставил себя не думать больше о Фальтере. Но вчера... да, вчера, я получил от него самого записку – из госпиталя: четко пишет, что во вторник умрет и что на прощание решается мне сообщить, что – тут следует две строчки, старательно и как бы иронически вымаранные. Я ответил, что благодарю за внимание и желаю ему интересных загробных впечатлений и приятного препровождения вечности.

Но все это не приближает меня к тебе, мой ангел. На всякий случай держу все окна и все двери жизни настежь открытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидений. Страшнее всего мысль, что, поскольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь. Мой бранный состав единственный, быть может, залог твоего идеального бытия: когда я скончаюсь, оно окончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью пользоваться земной природой, чтобы себе самому договорить тебя и затем положить на свое же многоточие...

## Глава 2. Solus Rex

Как случалось всегда, короля разбудила встреча предутренней стражи с дополуденной (moi-ndammer wagh и erldag wagh): первая, чересчур аккуратная, покидала свой пост в точную минуту смены; вторая же запаздывала на постоянное число секунд, зависевшее не от нерадивости, а, вероятно, от того, что привычно отставали чьи-то подагрические часы. Поэтому уходившие с прибывавшими встречались всегда на одном и том же месте – на тесной тропинке под самым окном короля, между задней стеной дворца и зарослью густой, но скудно цветущей жимолости, под которой валялся всякий сор: куриные перья, битые горшки и большие, краснощечие банки из-под национальных консервов «Помона»; при этом неизменно слышался приглушенный звук короткой добродушной потасовки (он-то и будил короля), ибо кто-то из часовых предутренних, будучи озорного нрава, притворялся, что не хочет отдать грифельную дощечку с паролем одному из дополуденных, раздражительному и глупому старику, ветерану свирхульмского похода. Потом все смолкало опять, и доносился только деловитый, иногда ускорявшийся шелест дождя, систематически шедшего по чистому подсчету триста шесть суток из трехсот шестидесяти пяти или шести, так что перипетия погоды явно никого не трогали (тут ветер обратился к жимолости).

Король повернул из сна вправо и подпер большим белым кулаком щеку, на которой вышитый герб подушки оставил шашечный след. Между внутренними краями коричневых, неплотно заведенных штор, в единственном, зато широком окне тянулся мыс мыльного света, и королю сразу вспомнилась предстоящая обязанность (присутствие при открытии нового моста через Эгель), неприятный образ которого был, казалось, с геометрической неизбежностью вписан в этот бледный треугольник дня. Его не интересовали ни мосты, ни каналы, ни кораблестроительство, и, хотя, собственно говоря, он должен был привыкнуть за пять лет – да, ровно пять лет (тысяча пятьсот тридцать суток) – пасмурного царствования к тому, чтобы усердно заниматься множеством вещей, возбуждавших в нем отвращение из-за их органической

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru недоконченности в его сознании (где бесконечно и неутолимо совершенными оставались совсем другие вещи, никак не связанные с его королевским хозяйством), он испытывал изнурительное раздражение всякий раз, как приходилось соприкасаться не только с тем, что требовало от его свободного невежества лживой улыбки, но и с тем, что было не более чем глянец условности на бессмысленном и, может быть, даже отсутствующем предмете. Открытие моста, проекта которого он даже не помнил, хотя, должно быть, одобрил его, казалось ему лишь пошлым фестивалем еще и потому, что никто, конечно, не спрашивал, интересен ему или нет повисший в воздухе сложный плод техники, – а придется тихо проехать в блестящем оскаленном автомобиле, а это мучительно, а вот был другой инженер, о котором упорно докладывали ему после того, как он однажды заметил (просто так – чтобы от кого-то или чего-то отделаться), что охотно занимался бы альпинизмом, будь на острове хоть одна приличная гора (старый, давно негодный береговой вулкан был не в счет, да там, кроме того, построили маяк, тоже, впрочем, недействующий). Этот инженер, сомнительная слава которого обжилась в гостиницах придворных и полупридворных дам, привлеченных его медовой смуглотой и вкрадчивой речью, предлагал поднять центральную часть островной равнины, обратив ее в горный массив, путем подземного накачивания. Населению выбранной местности было бы разрешено не покидать своих жилищ во время опуханья почвы; трусы, которые предпочли бы отойти подальше от опытного участка, где жались кирпичные домики и мычали, чуя элевацию, изумленные красные коровы, были бы наказаны тем, что возвращение восвояси по новосозданным крутизнам заняло бы гораздо больше времени, чем недавнее отступление по обреченной равнине. Медленно и округло надувались логовины, валуны поводили плечами, летаргическая речка, упав с постели, неожиданно для себя превращалась в альпийский водопад, деревья цугом уезжали в облака, причем многим это нравилось, например елям; опираясь о борт того, другого крыльца, жители махали платками и любовались воздушным развитием окрестностей, – а гора все росла, росла, пока инженер не отдавал приказа остановить работу чудовищных насосов. Но король приказа не дождался, снова задремал, едва успев пожалеть, что, постоянно сопротивляясь готовности Советников помочь осуществлению любой вздорной мечты (между тем как самые естественные, самые человеческие его права стеснялись глухими законами), он не разрешил приступить к опыту, теперь же было поздно, изобретатель покончил с собой, предварительно запатентовав комнатную виселицу (так, по крайней мере, сонное пересказало сонному).

Король проспал до половины восьмого, и в привычную минуту, тронувшись в путь, его мысль уже шла навстречу Фрею, когда Фрей вошел в спальню. Страдая астмой, дряхлый конвахер издавал на ходу странный добавочный звук, точно очень спешил, хотя по-видимому спешка была не в его духе, раз он до сих пор не умер. На табурет с вырезанным сердцем он опустил серебряный таз, как делал уже полвека при двух королях, ныне он будил третьего, предшественникам которого эта пахнущая ванилью и как бы колдовская водица служила, вероятно, для умывания, но теперь была совершенно излишней, а все-таки каждое утро появлялся таз, табурет, пять лет тому назад сложенное полотенце. Все издавая свой особенный звук, Фрей впустил день целиком, и король всегда удивлялся, отчего это он раньше всего не раздвигал штор, вместо того чтобы в полутьме, почти наугад, подвигать к постели табурет с ненужной посудой. Но говорить с Фреем было немислимо из-за его белой как лунь глухоты, – от мира он был отделен ватой старости, и когда он уходил, поклонившись постели, в спальне отчетливее тикали стенные часы, словно получив новый заряд времени.

Теперь эта спальня была ясна: с трещиной поперек потолка, похожей на дракона; с громадным столбом-вешалкой, стоявшим как дуб в углу; с прекрасной гладильной доской, прислоненной к стене; с устарелым приспособлением для сдирания сапога за каблук в виде большого чугунного жука-рогача, тящегося у подола кресла, облаченного в белый чехол. Дубовый платяной шкал, толстый, слепой, одурманенный нафталином, соседствовал с яйцеобразной корзиной для грязного белья, поставленной тут неизвестным колумбом. Там и сям на голубоватых стенах кое-что было повешено: уже проговорившиеся часы, аптечка, старый барометр, указывающий по воспоминаниям недействительную погоду, карандашный эскиз озера с камышами и улетающей уткой, близорукая фотография господина в крагах верхом на лошади со смазанным хвостом, которую держал под уздцы серьезный конюх перед крыльцом, то же крыльцо с собравшейся на ступенях напряженной прислужкой, какие-то прессованные пушистые цветы под пыльным стеклом в круглой рамке... Немногочисленность предметов и совершенная их чуждость нуждам и нежности того, кто пользовался этой престошной спальней (где когда-то, кажется, жила Экономка, как называли жену предшествовавшего короля), придавали ей таинственно

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru необитаемый вид, и если бы не принесенный таз да железная кровать, на которой сидел, свесив мускулистые ноги, человек в долгой рубахе с вышитым воротом, нельзя было бы себе представить, что тут кто-либо проводит ночь. Ноги нашарили пару сафьяновых туфель, и, надев серый как утро халат, король прошел по скрипучим половицам к обитой войлоком двери. Когда он вспоминал впоследствии это утро, ему казалось, что при вставании он испытывал и в мыслях и в мышцах непривычную тяжесть, роковое бремя грядущего дня, так что несомое этим днем страшнейшее несчастье (уже, под маской ничтожной скуки, сторожившее мост через Эгель), при всей своей нелепости и непредвиденности, ощутилось им затем как некое разрешение. Мы склонны придавать ближайшему прошлому (вот я только что держал, вот положил сюда, а теперь нету) черты, роднящие его с неожиданным настоящим, которое на самом деле лишь выскочка, кичащийся купленными гербами. Рабы связности, мы тщимся призрачным звеном прикрыть перерыв. Оглядываясь, мы видим дорогу и уверены, что именно эта дорога нас привела к могиле или к ключу, близ которых мы очутились. Дикие скачки и провалы жизни переносимы мыслью только тогда, когда можно найти в предшествующем признаки упругости или зыбучести. Так, между прочим, думалось несвободному художнику, Дмитрию Николаевичу Синеусову, и был вечер, и вертикально расположенными рубиновыми буквами горело слово «GARAGE». Король отправился на поиски утреннего завтрака. Дело в том, что никогда ему не удавалось установить наперед, в каком из пяти возможных покоев, расположенных вдоль холодной каменной галереи с паутинами на косых стеклах, будет его ожидать кофе. Поочередно отворяя двери, он выглядывал накрытый столик и наконец отыскал его там, где это явление случалось всего реже, – под большим, роскошно-темным портретом его предшественника. Король Гафон был изображен в том возрасте, в котором он помнил его, но чертам, осанке и телосложению было сообщено великолепии, никогда не бывшее свойственным этому сутулому, вертлявому и неряшливому старику, с безволосым, кривоватым, по-бабьи сморщенным надгубьем. Слова родового герба «видеть и владеть» (sassed ud halsem) остряки в применении к нему переделали в «кресло и ореховая водка» (sasse ud haze1). Он процарствовал тридцать с лишним лет, не возбуждая ни в ком ни особой любви, ни особой ненависти, одинаково веря в силу добра и в силу денег, ласково соглашаясь с парламентским большинством, пустые человеколюбивые стремления коего нравились его чувствительной душе, и широко вознаграждая из тайной казны деятельность тех депутатов, чья преданность престолу служила залогом его прочности. Царствование давно стало для него маховым колесом механической привычки, и таким же ровным верчением было темное повиновение страны, где как тусклый и трескучий ночник едва светился replerhus (парламент). И если самые последние годы его царствования были все же отравлены едкой крамолой, явившейся как отрыжка после долгого и беспечного обеда, то не сам он был тому виной, а личность и поведение наследника; да и то сказать – в пылу раздражения добрые люди находили, что не так уж завирался тогдашний бич научного мира, забытый ныне профессор фен Скунк, утверждавший, что деторождение не что иное как болезнь и что всякое чадо есть ставшая самостоятельной («овнешненной») опухоль родительского организма, часто злокачественная.

Нынешний король (в прошедшем обозначим его по-шахматному) приходился старику племянником, и в начале никому не мерещилось, что племяннику достанется то, что законом сулилось сыну короля Гафона, принцу Адульфу. народное, совершенно непристойное, прозвище которого (основанное на счастливом созвучии) приходится скромно перевести так: принц Дуля. Кр. рос в отдаленном замке под надзором хмурого и тщеславного вельможи и его мужеподобной жены, страстной любительницы охоты, – так что он едва знал двоюродного брата и только в двадцать лет несколько чаще стал встречаться с ним, когда тому уже было под сорок.

Перед нами дородный, добродушный человек, с толстой шеей и широким тазом, со щекастым, ровно-розовым лицом и красивыми глазами навывкате; маленькие гадкие усы, похожие на два иссиня-черных перышка, как-то не шли к его крупным губам, всегда лоснящимся, словно он только что обсасывал цыплячью косточку, а темные, густые, неприятно пахнущие и тоже слегка маслянистые волосы придавали его большой, плотно посаженной голове какой-то не по-островному франтовской вид. Он любил щегольское платье и вместе с тем был, как rariugh (семинарист), нечистоплотен; он знал толк в музыке, в ваянии, в графике, но мог проводить часы в обществе тупых, вульгарных людей; он обливался слезами, слушая тающую скрипку гениального Перельмона, и точно так же рыдал, подбирая осколки любимой чашки; он готов был чем угодно помочь всякому, если в эту минуту другое не занимало его, – и, блаженно сопя, теребя и пощипывая жизнь, он постоянно шел на то, чтобы причинить каким-то третьим душам, о существовании которых не помышлял, какое-то далеко превышающее размер его личности постороннее, почти потустороннее горе.

Поступив на двадцатом году в университет, расположенный в пятистах лиловых верстах от столицы, на берегу серого моря, Кр. кое-что там услышал о правах наследного принца, и услышал бы гораздо больше, если бы не избегал всех речей и рассуждений, которые могли бы слишком обременить его и так не легкое инкогнито. Граф-опекун, навещавший его раз в неделю (причем иногда приезжал в каретке мотоциклета, которым управляла его энергичная жена), постоянно подчеркивал, как было бы скверно, скандально, опасно, кабы кто-нибудь из студентов или профессоров узнал, что долговязый, сумрачный юноша, столь же отлично учащийся, как играющий в *vanbol* на двухсотлетней площадке за зданием библиотеки, вовсе не сын нотариуса, а племянник короля. Было ли это принуждение одним из тех несметных и загадочных по своей глупости капризов, которыми, казалось, кто-то неведомый, обладающий большей властью, чем король и пеплерхус вместе взятые, зачем-то берedit верную полузабытым заветам, бедную, ровную, северную жизнь этого «грустного и далекого» острова, или же у обиженного вельможи был свой частный замысел, свой зоркий расчет (воспитание королей почиталось тайной), гадать об этом не приходилось, да и другим был занят необыкновенный студент. Книжки, мяч, лыжи (в те годы зимы бывали снежные), но главное – ночные, особенные размышления у камина, а немного позже близость с Белиндой, достаточно заполняли его существование, чтобы его не заботили шашки метаполитики. Мало того, трудолюбиво занимаясь отечественной историей, он никогда не думал о том, что в нем спит та же самая кровь, что бежала по жилам прежних королей, или что жизнь, идущая мимо него, есть та же история, вышедшая из туннеля веков на бледное солнце. Оттого ли, что программа его предмета кончалась за целое столетие до царствования Гафона, оттого ли, что невольное волшебство трезвейших летописцев было ему дороже собственного свидетельства, но книголюбивый в нем победил очевидца, и впоследствии, стараясь восстановить утраченную связь с действительностью, он принужден был удовлетвориться наскоро сколоченными переходами, лишь изуродовавшими привычную даль легенды (мост через Эгель, кровавый мост через Эгель...).

И вот тогда-то, перед началом второго университетского года, приехав на краткие каникулы в столицу, где он скромно поселился в так называемых «министерских номерах», Кр. на первом же дворцовом приеме встретился с шумным, толстым, неприлично моложавым, вызывающе симпатичным наследным принцем. Встреча произошла в присутствии старого короля, сидевшего в кресле с высокой спинкой у расписного окна и быстро-быстро пожиравшего те маленькие, почти черные сливы, которые служили ему более лакомством, чем лекарством. Сначала как бы не замечая молодого родственника и продолжая обращаться к двум подставным придворным, принц однако повел разговор, как раз рассчитанный на то, чтобы обольстить новичка, к которому он стоял вполоборота, глубоко запустив руки в карманы мятых клетчатых панталон, выпятив живот и покачиваясь с каблуков на носки. «Возьмите, – говорил он своим публичным, ликующим голосом, – возьмите всю нашу историю, и вы увидите, господа, что корень власти всегда воспринимался у нас как начало магического и что покорность была только тогда возможна, когда она в сознании покоряющегося отождествлялась с неизбежным действием чар. Другими словами, король был либо колдун, либо сам был околдован, – иногда народом, иногда советниками, иногда супостатом, снимающим с него корону, как шапку с вешалки. Вспомните самые дремучие времена, власть *mosmon'ov* (жрецов, «болотных людей»), поклонение святящемуся мху и прочее, а потом... первые языческие короли, – как их, Гильдрас, Офодрас и третий... я уж не помню, – словом, тот, который бросил кубок в море, после чего трое суток рыбаки черпали морскую воду, превратившуюся в вино... *Solgd ud digh vor je sage vel, ud jem gotelm quolm osje musikel* (сладка и густа была морская волна, и девочки пили из раковин, – принц цитировал балладу Уперхульма). А первые монахи, приплывшие на лодочке, уснащенной крестом вместо паруса, и вся эта история с «купель-скалой», – ведь только потому, что они угадали, чем взять наших, удалось им ввести римские бредни. Я больше скажу, – продолжал принц, вдруг умерив раскаты голоса, так как неподалеку стоял сановник клерикального толка, – если так называемая церковь никогда у нас не въелась по-настоящему в тело государства, а за последние два столетия и вовсе утратила политическое значение, так это именно потому, что те элементарные и довольно однообразные чудеса, которые она могла предъявить, очень скоро наскучили (клерикал отошел, и голос принца вновь вышел на волю) и не могли тягаться с природным колдовством, *avec la magie innee et naturelle* нашей родины. Возьмем далее безусловно исторических королей и начало нашей династии. Когда Рогфрид I вступил или, вернее, вскарабкался на шаткий трон, который он сам называл бочкой в море, и в стране стоял такой мятеж и неразбериха, что его попытка воцариться казалась детской мечтой, – помните, первое, что он делает по вступлении на престол, – он

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru немедленно чеканит круны и полкруны и гроши с изображением шестипалой руки, – почему рука? почему шесть пальцев? – ни один историк не может выяснить, да и сам Рюффрид вряд ли знал, но факт тот, что эта магическая мера сразу умиротворила страну. Далее, когда при его внуке датчане попробовали навязать нам своего ставленника и тот высадился с огромными силами, – вдруг, совершенно просто, партия – я забыл, как ее звали, – словом изменники, без помощи которых не случилось бы всей затеи, – отправили к нему гонца с вежливым извещением о невозможности для них впредь поддерживать завоевателя, ибо, видите ли, «вереск (т. е. вересковая равнина, по которой продавшееся войско должно было пройти, чтобы слиться с силами иноземца) опутал измене стремя и ноги и не пускает далее», что, по-видимому, следует понимать буквально, а не толковать в духе тех плоских иносказаний, которыми питают школьников. Затем... да, вот чудный пример, – королева Ильда, – не забудем белогрудой и любвеобильной королевы Ильды, которая все государственные трудности разрешала путем заклинаний, да так успешно, что всякий неугодный ей человек терял рассудок, – вы сами знаете, что до сих пор в народе убежища для сумасшедших зовутся *ildeham*. Когда же он, этот народ, начинает участвовать в делах законодательных и административных, – до смешного ясно, что магия на его стороне, и уверяю вас, что, если бедный король Эдарик никак не мог усесться во время приема выборов, виной тому был вовсе не геморрой. И так далее, и так далее (принцу уже начинала надоедать им выбранная тема)... жизнь страны, как некая амфибия, держит голову в простой северной действительности, а брюхо погружает в сказку, в густое, живительное волшебство, – не даром у нас каждый мшистый камень, каждое старое дерево участвовало хоть раз в том или другом волшебном происшествии. Вот тут находится молодой студент, он изучил предмет и, думаю, подтвердит мое мнение».

Серьезно и доверчиво слушая рассуждения принца, Кр. поражался тем, до чего они совпадают с его собственными мыслями. Правда, ему казалось, что хрестоматийный подбор примеров, производимый речистым наследником, несколько грубоват; что все дело не столько в разительных проявлениях чудесного, сколько в оттенках его, глубоко и вместе туманно окрашивающих историю Острова. Но с основным положением он был безусловно согласен, – так он и ответил, опустив голову и кивая самому себе. Только гораздо позже он понял, что совпадение мыслей, так удивившее, было следствием почти бессознательной хитрости со стороны их прокатчика, у которого несомненно было особого рода чутье, позволявшее ему угадывать лучшую приманку для всякого свежего слушателя.

Король, покончив со своими сливами, подозвал племянника и, совершенно не зная, о чем с ним говорить, спросил его, сколько студентов в университете. Тот смешался, – не знал, сколько, – был слишком ненаходчив, чтобы назвать любую цифру. «Пятьсот? Тысяча?» – допытывался король с какой-то ребяческой надеждой в тоне. «Наверное, больше», – примирительно добавил он, не добившись вразумительного ответа и, немного подумав, еще спросил, любит ли племянник верховую езду. Тут вмешался наследник, с присущей ему сочной непринужденностью предложив двоюродному брату совместную прогулку в ближайший четверг. «Удивительно, до чего он стал похож на мою бедную сестрицу, – проговорил король с машинальным вздохом, снимая очки и суя их обратно в грудной карманчик коричневой, с бранденбурами, куртки. – Я слишком беден, – продолжал он, чтобы подарить тебе коня, но у меня есть чудный хлыстик, – Гостен (обратился он к министру двора), где чудный хлыстик с собачьей головкой? Разыщите потом и дайте ему, – интересная вещица, историческая вещица, – ну так вот, очень рад, а коня не могу, пара кляч есть, да берегу для катафалка, не взыщи – беден...» («Il ment» (Он лжет (франц.)), – сказал принц вполголоса и отошел, напевая.)

В день прогулки погода стояла холодная и беспокойная, летело перламутровое небо, склонялся лозняк по оврагам, копыта вышлепывали брызги из жирных луж в шоколадных колеях, каркали вороны, а потом, за мостом, всадники свернули в сторону и поехали рысью по темному вереску, над которым там и сям высилась тонкая, уже желтеющая береза. Наследный принц оказался отличным наездником, хотя, видимо, в манеже не учился: посадка была никакая, и его тяжелый, широкий, вельветином и замшей обтянутый зад, ухающий вверх и вниз на седле, да округлые, склоненные плечи возбуждали в его спутнике какую-то странную, смутную жалость, которая совершенно рассеивалась, когда Кр. смотрел на толстошее, розовое, разящее здоровьем и самодовольством лицо принца и слушал его напористую речь.

Присланный накануне хлыстик взят не был: принц (кстати сказать, введший в моду дурной французский язык при дворе) высмеял «*ce machin ridicule*» (это забавное устройство (франц.)), который, по его словам, сынок конюха забыл у королевского

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков [nabokovvladimir.ru](http://nabokovvladimir.ru)  
подъезда, – «et mon bonhomme de pire, tu sais, a une vraie passion pour les objets trouvés» (А у моего папочки, как ты знаешь, подлинная страсть к находкам (франц.)).

«Я все думал, как это верно, то, что вы говорили, – в книгах этого ведь не сказано...»

«О чем это?» – спросил принц, с трудом и неохотой стараясь вспомнить, какую случайную мысль он тогда развивал перед двоюродным братом.

«Помните, – о магическом начале власти, – о том, что –,—».

«А, помню, помню, – поспешно перебил принц и тут же нашел лучший способ разделаться с выдохшейся темой: – Только знаешь, – сказал он, – я тогда не докончил, – слишком было ушасто. Видишь ли, – все наше теперешнее несчастье, эта странная тоска государства, инертность страны, вялая ругань в пеплерхусе, – все это так потому, что самая сила чар, и народных и королевских, как-то сдала, улетучилась и наше отечественное волхвование превратилось в пустое фокусничество. Но не будем сейчас говорить об этих грустных предметах, а обратимся к веселым. Скажи, ты в университете, верно, немало обо мне слышался... Воображаю! Скажи, о чем говорилось? Что ж ты молчишь? Говорилось, что я развратен, не так ли?» «Я сплетен не слушал, но кое-что в этом роде болтали». «Что ж, молва – поэзия правды. Ты еще мальчик – и довольно красивый мальчик в придачу, – так что многого ты сейчас не поймешь. Я тебе только одно замечу: все люди в сущности развратны, но когда это делается под шумок, когда второпях, скажем, объираешься вареньем в темном углу или Бог знает что поручаешь собственному воображению, – о, это не в счет, это преступлением не зовется; когда же человек откровенно и трудолюбиво удовлетворяет желания, навязанные ему требовательным телом, – тогда люди начинают трубить о беспутстве! И еще: если бы в моем случае это законное удовлетворение просто сводилось все к одному и тому же однообразному приему, общественное мнение с этим бы примирилось, – разве что пожурило бы меня за слишком частую смену любовниц... но. Боже мой, какой поднимается шум оттого, что я не придерживаюсь канонов распутства, а собираю мед повсюду, люблю все – и тюльпан и простую травку, – потому что, видишь ли, – докончил принц, улыбаясь и шурясь, – я собственно ищу только дробь прекрасного, целое предоставляю добрым бургерам, а эта дробь может найтись в балерине и в грузчике, в пожилой красавице и в молодом всаднике».

«Да, – сказал Кр., – я понимаю. Вы – художник, скульптор, вы ищете форму...» Принц придержал коня и захохотал. «Ну, знаешь, дело тут не в скульптуре, – а *moins que tu ne confonde la galanterie- avec la Galatie* (По крайней мере, ты не путаешь галантность с Галатеей (франц.)), – что, впрочем, в твоём возрасте простительно. Нет-нет, все это гораздо проще. Только ты меня, пожалуйста, не дичись, я тебя не съем, я ужасно не люблю юношей, *que se tiennent toujours sur leurs gardes* (Которые всегда держатся настороже (франц.)). Если у тебя ничего нет лучше в виду, мы можем вернуться через Grenlog и пообедать над озером, а потом что-нибудь придумаем».

«Нет, – боюсь, у меня... словом, одно дело... я как раз сегодня...»

«Что ж, я тебя не неволю», – добродушно сказал принц, и немножко дальше, у мельницы, они расстались.

Как очень застенчивый человек, Кр. не без труда принудил себя к этой верховой прогулке, казавшейся особо тяжелым испытанием именно потому, что принц слыл веселым собеседником: с минорным тихоней было бы легче заранее определить тон прогулки; готовясь к ней, Кр. старался вообразить все те неловкости, которые приостекнут от того, что придется искусственно приподнять свое обычное настроение до искристого уровня Адульфа. При этом он себя чувствовал связанным первой встречей с ним, – тем, что неосторожно признал своими мысли человека, который теперь вправе ожидать, что и дальнейшее общение будет обоим столь же приятно: и, составляя наперед подробную опись своих возможных промахов, а главное, с предельной ясностью представляя себе напряжение, свинец в челюстях, беспомощную скуку, которую он будет испытывать из-за врожденной способности всегда видеть со стороны себя, свои бесплодные усилия слиться с самим собой и найти интересное в том, чему полагается быть интересным, – составляя эту опись, Кр. еще преследовал маленькую практическую цель: обезвредить будущее, чье единственное орудие – неожиданность; ему это почти удалось; ограниченная в своем дурном выборе судьба,

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru казалась, удовлетворилась тем нестрашным, которое он оставил вне поля воображения; бледное небо, вересковый ветер, скрип седла, нетерпеливо отзывчивая лошадь, неиссякаемый монолог довольного собою спутника – все это слилось в ощущение сносное, тем более что прогулке Кр. мысленно поставил известный предел во времени. Надо было только дотерпеть. Но когда новым своим предложением принц погрозился отодвинуть этот предел в неизвестность, все возможности коей надо было опять мучительно учесть – причем снова навязывалось «интересное», наперед заказывающее веселое выражение лица, – такое бремя (лишнее! непредвиденное!) выдержать было нельзя, и потому, рискуя показаться неучтивым, он сослался на несуществующую помеху. Правда, как только он повернул лошадь, он об этой неучтивости пожалел столь же остро, как за минуту до того пожалел своей свободы. Таким образом, все неприятное, ожидавшееся от будущего, выродилось в сомнительный отзвук прошедшего. Он подумал, не догнать ли принца и не закрепить ли первую основу дружбы посредством позднего, но тем более драгоценного согласия на новое испытание. Но щепетильная боязнь обидеть доброго, веселого человека не перевесила страха перед явной невозможностью оказаться на высоте этого веселья и этой доброты. И поэтому получилось так, что судьба все-таки перехитрила его и напоследок, уколом исподтишка, обесценила то, что он готов был считать за победу.

Через несколько дней он получил еще одно приглашение от принца. Тот его просил «заглянуть» в любой вечер на будущей неделе. Отказаться Кр. не мог... Впрочем, чувство облегчения (значит, тот не обиделся) обманчиво сглаживало путь. Его ввели в большую, желтую, оранжереиную теплую комнату, где на оттоманках, на пуфах, на пухлом ковре сидели человек двадцать с приблизительно равным числом женщин и мужчин. На одну долю секунды хозяин был как бы озадачен появлением двоюродного брата, точно забыл, что звал его, или думал, что звал в другой день. Но это мгновенное выражение тотчас сменилось улыбкой приветия, после чего принц уже перестал обращать какое-либо внимание на Кр., как, впрочем, ни малейшего внимания не обратили на него другие гости, – видимо, завсегда, близкие приятели и приятельницы принца – молодые женщины необыкновенной худобы, с гладкими волосами, человек пять пожилых мужчин с бритыми, бронзовыми лицами да несколько юношей в модных тогда шелковых воротниках нараспашку. Среди них Кр. вдруг узнал знаменитого молодого акробата, хмурого блондинчика с какой-то странной тихостью в движениях и поступи, точно выразительность его тела, столь удивительная на арене, была одеждой приглушена. Этот акробат послужил для Кр. ключом ко всему составу общества, – и хотя наблюдатель был до смешного неопытный и целомудренный, он сразу почувствовал, что эти дымчатые, сладостно длинные женщины, с разнообразной небрежностью складывающие ноги и руки и занимающиеся не разговором, а какой-то тенью разговора, состоящей из медленных полуулыбок да вопросительных или ответных хмыканий сквозь дым папирос, вправленных в драгоценные мундштуки, принадлежат к тому в сущности глухонемому миру, который в старину звался полусветом (занавески опущены, читать невозможно). То, что между ними находились и дамы, попадавшие на придворных балах, нисколько не меняло дела, точно так же, как мужской состав был чем-то однороден, несмотря на то что тут были и представители знати, и художники с грязными ногтями, и какие-то мальчишки портового пошиба. Но именно потому, что наблюдатель был неопытный и целомудренный, он тотчас усомнился в первом невольном впечатлении и обвинил себя в банальной предвзятости, в рабском доверии пошлой молве. Он решил, что все в порядке, т. е. что е г о мир нисколько не нарушен включением этой новой области и что все в ней просто и понятно: жизнерадостный, независимый человек свободно выбрал себе друзей. Тихо-беспечный и даже чем-то детский ритм этого общества особенно успокоил его. Курение машинальных папирос, мелкая, сладкая снедь на тарелочках с золотыми жилками, товарищеские циклы движений (кто-то для кого-то нашел ноты, кто-то примерил на себе ожерелье соседки), простота, тишина – все это по-своему говорило о той доброте, которую Кр., сам ею не обладая, мучительно узнавал во всех явлениях жизни – будь это улыбка конфеты в ее гофрированном чепчике или угаданный в чужой беседе звук давней дружбы. Сосредоточенно хмурясь и изредка разрешаясь серией взволнованных стонов, оканчивающихся криком досады, принц занимался тем, что старался загнать все шесть шариков в центр круглого лабиринта из стекла. Рыжеволосая, в зеленом платье и сандалиях на босу ногу, повторяла со смешным унынием, что это ему не удастся никогда, но он долго упорствовал, тряс ретивый предмет, слегка топал ногой и начинал сызнова. Наконец он его швырнул на диван, где им тотчас занялись другие. Затем мужчина с красивой, но искаженной тиком внешностью сел за рояль, беспорядочно ударил по клавишам, пародируя чью-то игру, тотчас встал опять, и между ним и принцем завязался спор о таланте какого-то третьего лица – вероятно, автора оборванной мелодии, а рыская, почесывая сквозь платье длинное бедро, стала объяснять

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков [nabokovvladimir.ru](http://nabokovvladimir.ru) причину чьей-то сложной музыкальной обиды. Вдруг принц посмотрел на часы и обратился к молодому человеку, пившему в углу оранжад: «Ондрик, – проговорил он с озабоченным видом, – кажется, пора». Тот угрюмо облизнулся, поставил стакан и подошел к принцу.

. . . . .  
. . . . .

«Сначала мне показалось, – рассказывал Кр., – что я сошел с ума, что у меня галлюцинация...» – больше всего его потрясла естественность процедуры. Он почувствовал подступ физической тошноты и вышел. Выбравшись на улицу, он некоторое время даже бежал.

Единственное лицо, с которым он признал возможным поделиться своим возмущением, был его опекун: не испытывая никакой любви к мало привлекательному графу, он все же решил, что обратиться к нему необходимо, – других близких у него не было. Он с отчаянием спросил графа, как это может быть, чтобы человек таких нравов, к тому же уже пожилой, т. е. не подверженный перемене, стал бы правителем страны; при том свете, в котором он неожиданно увидел наследника, он увидел и то, что помимо отвратительного распутства и несмотря на склонность к искусствам, принц, в сущности, дикарь, грубый самоучка, лишенный настоящей культуры, присвоивший горсть ее бисера, умело щеголявший блеском переимчивой мысли и уж конечно вовсе не озабоченный вопросами будущего царствования. Кр. спрашивал, не бред ли, не сонная ли чепуха, вообразить такого человека на троне, однако, так спрашивая, он не ожидал практического ответа: это была риторика молодого разочарования. Но как-никак, в отрывистых, ломких словах (он был не красноречив по природе) выражая свое недоумение, Кр. впервые обогнал действительность и заглянул ей в лицо. Пускай он сразу же отстал снова; виденное все же отпечаталось у него в душе, и впервые ему открылось гибельное положение государства, осужденного стать игрищем похотливого хахаля.

Граф выслушал его со вниманием, изредка обращая на него взгляд голых стервятничьих глаз, – в них сквозило странное удовлетворение. Расчетливый и неторопливый, он отвечал своему питомцу весьма осторожно, как бы не совсем соглашаясь с ним, успокаивая его тем, что случайно подсмотренное сильнее, чем следовало, повлияло на его суждение и что у принца есть качества, которые могут сказаться при вступлении его на престол. Напоследок граф небрежно предложил познакомить Кр. с одним умным человеком, известным экономистом по фамилии Гумм. Тут граф преследовал двоякую цель: во-первых, он снимал с себя ответственность за дальнейшее и оставался в стороне, что оказалось бы весьма удобным, случись беда; во-вторых, он передавал Кр. старому заговорщику, и таким образом начато было осуществление плана, который вредный лукавец лелеял, по-видимому, давно.

Вот – экономист Гумм, круглобрюхий старичок в шерстяном жилете, в синих очках на розовом лбу, подвижной, чистенький и смешливый. Кр. стал видаться с ним часто, а в конце второго университетского года даже прогостил у него около недели. К этому времени Кр. узнал достаточно о поведении наследного принца, чтобы не жалеть о своем первом возмущении. Не столько от самого Гумма, который всегда куда-то катился, сколько от его родственников и окружения он узнал и о тех мерах, которые в разное время употреблялись для воздействия на принца. Сначала это были попытки осведомить старого короля о забавах сына и добиться отцовского удержания. Действительно, когда то или другое с трудом дорвавшееся до королевского кабинета лицо в откровенных красках расписывало королю эти забавы, старик, побагровев и нервно запахиваясь в халат, выражал еще больший гнев, чем можно было надеяться. Он кричал, что положит конец, что чаша терпения (в которой бурно плескался утренний кофе) переполнена, что он счастлив услышать чистосердечный доклад, что кобеля он сошлет на полгода в *suurphelîhus* (корабль-монастырь, плавучий скит), что... А когда аудиенция кончалась и удовлетворенный докладчик собирался откланяться, старый король, еще пытаясь, но уже успокоившись, с деловитым, конфиденциальным видом отводил его в сторону (хотя все равно они были одни) и говорил: «Да-да, я все это понимаю, все это так, но послушайте, – совершенно между нами, скажите, ведь если здраво подумать, – ведь мой Адульф – холостой, озорной, любит немножко покудесить, – стоит ли так горячиться, – ведь и мы сами были молоды...» Этот последний довод звучал, впрочем, довольно бессмысленно, так как далекая молодость короля протекла с млечной тихостью, а покойная королева, его супруга, до шестидесяти лет держала его в строгости необыкновенной. Это была, кстати сказать, удивительно упрямая, глупая и мелочная

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru женщина, постоянно склонная к невинным, но чрезвычайно нелепым фантазиям, и весьма возможно, что именно из-за нее дворцовый и отчасти государственный бунт принял те особые, словами трудно определимые черты, странно совмещающие в себе капризность и косность, бесхозяйственность и чинность тихого сумасшествия, которые так мучили нынешнего короля.

Второй по времени метод воздействия был значительно глубже: он заключался в созыве и укреплении общественных сил. На какое-либо сознательное участие простого народа рассчитывать не приходилось: среди островных пахарей, ткачей, булочников, плотников, речников, рыбаков и прочих превращение любого престолонаследника в любого короля принималось так же покорно, как перемена погоды: простолюдин смотрел на зарю в кучевых тучах, качал головой... и все; в его темном и мшистом мозгу всегда было отведено привычное место для привычной напасти, государственной или природной. Мелкота и медленность экономической жизни, оцепеневший уровень цен, давно утративших спасительную чувствительность (ту действенность, коей создается внезапная связь между пустой головой и пустым желудком), угрюмое постоянство небольших, но как раз достаточных урожаев, тайный договор между овощем и зерном, как бы условившихся пополнять друг друга и тем поддерживать равновесие, – все это, по мнению Гумма («Устой хозяйства и его застой»), держало народ в вялом повиновении, – а если тут было своего рода колдовство, то тем хуже для жертв его вязких чар. Кроме того, – и это особенно печалило светлые умы, – принц Дуля среди простого народа и мещанства (различие между которыми было так зыбко, что постоянно можно было наблюдать весьма загадочное возвращение обеспеченного сына лавочника к скромному мужицкому промыслу его деда) пользовался какой-то пакостной популярностью. Здоровый смех, неизменно сопровождавший разговоры о его проказах, препятствовал их осуждению: маска смеха прилипала к устам, и эту минуту одобрения уже нельзя было отличить от одобрения истинного. Чем гаже развлекался принц, тем гуще крикали, тем молодцеватее и восторженнее хрюпали по сосновым стволам красными кулаками. Характерная подробность: когда однажды проездом (верхом, с сигарой во рту) через глухое село принц, заметив смазливую девчонку, предложил ее покатать и, несмотря на едва сдерживаемый почтением ужас ее родителей, умчался с ней на коне, а старый дед долго бежал по дороге, пока не упал в канаву, вся деревня, по донесению агентов, «восхищенно хохотала, поздравляла семью. наслаждалась предположениями и не поскупилась на озорные расспросы, когда спустя час девочка явилась, держа в одной руке сотенную бумажку, а в другой выпадыша, подобранного на обратном пути из пустынной рощи».

В военных кругах недовольство против принца основано было не столько на соображениях общей морали и государственного престижа, сколько на прямой обиде, проистекавшей из его отношения к пуншу и пушкам. Сам король Гафон, в отличие от воинственного предшественника, уж на что был глубоко штатский старик, а все же с этим мирились: его полное непонимание военных дел искупалось пугливым к ним уважением. Сыну же гвардия не могла простить откровенную насмешку. Маневры, парады, толстощекая музыка, полковые пирушки с соблюдением колоритных обычаев и другие старательные развлечения маленькой островной армии ничего не возбуждали в сугубо художественной душе принца, кроме пренебрежительной скуки. Брожение, однако, не шло дальше беспорядочного ропота да, быть может, полночных клятв (в блеске свечей, чарок и шпаг), позабываемых утром. Таким образом почин естественно принадлежал светлым умам общества, которых, к сожалению, было немного: зато этими противниками наследного принца были некоторые государственные, газетные и судебные мужи – люди почтенные, жилистые, пользовавшиеся большим, тайным и явным, влиянием. Иначе говоря, общественное мнение оказалось на высоте, и стремление к обузданию принца по мере развития его порочной деятельности стало почитаться признаком порядочности и ума. Оставалось только найти оружие. Увы, его-то и не было. Существовала печать, существовал парламент, но по законам конституции всякий мало-мальски непочтительный выпад против члена королевского дома служил достаточным поводом к тому, чтобы газету прикончить или палату распустить. Единственная попытка расшевелить страну потерпела неудачу. Речь идет о знаменитом процессе доктора Онзе.

Этот процесс был чем-то беспримерным даже в беспримерных анналах островного суда. Человек, слывший праведником, лектор и писатель по гражданским и философским вопросам, личность настолько уважаемая, настолько известная строгостью взглядов и правил, настолько ослепительно чистая, что в сопоставлении с ней репутация всякого казалась пятнистой, был обвинен в разнообразных преступлениях против нравственности, защищался с неуклюжестью отчаяния и в конце концов принес повинную. В этом еще ничего необычайного не было: мало ли какими

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков [nabokovvladimir.ru](http://nabokovvladimir.ru) фурункулами могут при рассмотрении оказаться сосцы добродетели! Необычайная и хитрая суть дела состояла в том, что обвинительный акт и показания свидетелей были верной копией всего того, в чем можно было обвинить наследного принца. Следует удивляться точности сведений, добытых для того, чтобы, ничего не прикрашивая и ничего не пропуская, вправить в подготовленную раму портрет в полный рост. Многое было так ново и так уточняло, так своеобразило общие места давно огрубевшей молвы, что сначала обыватели не признали оригинала. Но очень скоро ежедневные отчеты в газетах стали возбуждать в кое-что сообразившей стране ни с чем не сравнимый интерес, и люди, платившие до двадцати крун, чтобы попасть на заседание суда, уже не жалели пятисот и больше.

Первоначальная идея зародилась в недрах прокуратуры; ею увлекся старейший судья столицы; оставалось найти человека, достаточно чистого, чтобы не быть спутанным с прототипом процесса, достаточно умного, чтобы на суде не разыграть шута или кретина, а главное – достаточно преданного правому делу, чтобы отдать ему в жертву все, вынести чудовищную грязевую ванну и карьеру променять на каторгу. Таких кандидатов не намечалось; заговорщикам, в большинстве случаев людям семейным и зажиточным, нравились все роли, кроме той, без которой нельзя было поставить пьесу. Положение уже казалось безысходным, когда однажды на собрание заговорщиков явился весь в черном доктор Онзе и, не садясь, заявил, что отдает себя в полное их распоряжение. Естественное нетерпение тотчас за него ухватиться как-то не дало им времени подивиться, а ведь на первый взгляд едва ли могло быть понятно, каким образом разреженная жизнь мыслителя совместилась с готовностью быть прикрученным к позорному столбу ради политической интриги. Впрочем, его случай не так уж редок. Постоянно занимаясь вопросами духа и к хрупчайшим отвлеченностям приспособляя законы твердейших принципов, доктор Онзе – не нашел возможным отказаться от личного применения того же метода, когда представился случай совершить бескорыстный и вероятно бессмысленный (т. е. чистейший, а значит, все-таки отвлеченный) подвиг. При этом напомним, что доктор Онзе жертвовал кафедрой, кабинетной негой, продолжением ученых работ, словом, всем, чем вправе дорожить философ; отметим, что здоровье у него было неважное; подчеркнем, что, прежде чем разобратся в самом деле, ему пришлось посвятить три ночи изучению специальных трудов по вопросам, мало знакомым аскету; и добавим, что незадолго до принятия решения он как раз обручился со стареющей девушкой, после пяти лет немой любви, в течение которых ее давний жених боролся с чахоткой в далекой Швейцарии, – покуда не угас, тем самым освободив ее от договора с состраданием.

Дело началось с жалобы этой поистине героической особы на доктора Онзе, будто бы завлекшего ее на свою тайную квартиру, «притон роскоши и разврата». Такая же точно жалоба (с единственной разницей, что квартира, под рукой снятая и обставленная заговорщиками, была не той, которая когда-то нанималась принцем для особых забав, а помещалась в доме напротив, чем сразу устанавливался признак полной зеркальности, отметившей весь процесс) была лет пятнадцать тому назад подана одной нерасторопной девицей, случайно не знавшей, что гуляка, посягнувший на ее честь, есть наследник престола, т. е. лицо, ни при каких обстоятельствах не могущее быть привлеченным к судебной ответственности. Далее, многочисленные свидетели (иные из которых были намербованы из бескорыстных приверженцев, а иные из платных агентов: первых не совсем хватило) дали свои показания, весьма талантливо составленные комиссией экспертов, среди которых был известный историк, два крупных литератора и опытные юристы. В этих показаниях деяния наследника развивались постепенно, с соблюдением истинного порядка времени, лишь несколько сокращенного против того, которое понадобилось принцу, чтобы так раздражить общество. Любовь вповалку, ура-уранизм, умыкание подростков и многие другие утехы подробно излагались в виде вопросов, обращенных к подсудимому, отвечающему значительно более кратко. Изучив все дело с прилежностью и методичностью, присущими его уму, доктор Онзе, вовсе не думавший о театральном искусстве (в театр вообще не ходил), собственным ученым путем бессознательно дошел до прекрасного воплощения того типа преступника, длительное заперательство которого (рассчитанное в данном случае на то, чтобы хорошенько дать обвинению развиться) питается противоречиями и поддерживается растерянным упрямством.

Все шло так, как было задумано; увы! вскоре выяснилось, что крамола сама не знала, на что именно надеялась. На раскрытие глаз народных? Но народ и так отлично знал номинальную цену принца. На переход морального возмущения в возмущение гражданское? Но ничто не указывало путей к такому воплощению. Или, может быть, вся затея должна была быть лишь одним звеном в целой цепи все более действенных обличений? Но тогда смелость и резкость маневра, придававшие ему

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru неповторимый характер исключительности, тем самым обрывали на первом же звене цепь, требовавшую прежде всего постепенностиковки.

Как бы то ни было, но печатание всех подробностей процесса только содействовало обогащению газет: их тираж так разросся, что в этой живительной тени иным находчивым лицам (например, Сиену) удалось наладить издание новых органов, преследующих те или иные цели, но сбыт которых был заранее обеспечен воспроизведением судебных отчетов. Число искренне возмущавшихся было ничтожно по сравнению с толпой смакующих и любопытных. Народ читал и смеялся. Это публичное разбирательство воспринималось им как замечательная потеха, устроенная пройдохами. Фигура принца приобрела в его сознании черты полишинеля, которого, правда, хватает палкой по лакированной голове облезлый черт, но который все же не перестает быть любимцем зевак, баловнем балаганов. Напротив, личность самоотверженного доктора не только не была оценена по достоинству, но возбуждала злорадное улюлюкание (к сожалению, подхваченное бульварной печатью), ибо его положение понималось народом как жалкая исполнительность продажного умника. Словом, та специфическая популярность, которой всегда пользовался принц, только увеличилась, и самые насмешливые догадки о том, каково ему читать о собственных проделках, все же носили отпечаток того добродушия, которым невольно поощряется чужое молодечество.

Знать, советники, двор и «дворцовые» члены пеплер-хуса были взяты врасплох и, выжидательно присмирив, потеряли бесценный политический темп. Правда, за несколько дней до приговора депутатам королевского крыла удалось путем замысловатого подкупа (или подкупа) провести в пеплерхусе закон о запрещении газетам помещать судебные отчеты «бракоразводных и иных дел, могущих содержать соблазнительные детали», но так как по конституции ни один закон не мог вступить в силу до истечения сорока дней с момента его принятия (это называлось «беременность Фемиды»), у газет было время спокойно писать о процессе до самого его конца.

Сам принц отнесся к нему с полным равнодушием, выраженным притом столь естественно, что можно было сомневаться, понимает ли он, о ком в действительности речь. Так как ни одна черточка дела не могла ему быть незнакома, то приходится заключить, что, если ему не отшибло памяти, он отменно владел собой. Только раз его приближенным показалось, что тень раздражения мелькнула по его большому лицу. «Какая досада, – воскликнул принц. – Почему этот шалун не звал меня на свои посиделки? Que de plaisirs perdus!» (Сколько удовольствия потеряно! (франц.)) Что до короля, то, хотя и он тоже вида не показывал, но, судя по тому, как он покашливал, складывая газету в ящик и снимая очки, да по тому, как часто запирался с тем или другим советником, вызванным в неурочный час, ясно было, что он сильно задет. Рассказывали, что во дни процесса он несколько раз с притворной непринужденностью предлагал сыну яхту, чтобы тот на ней совершил небольшое кругосветное путешествие, но принц хохотал и целовал отца в лысое темя. «Право же, голубчик, – повторял старик, – преславно на море. Возьмешь с собой винца, музыкантов...» «Нй! ас (Увы (франц.)), – отвечал принц, – качающийся горизонт развращает мою диафрагму».

Процесс подходил к концу. Защита ссылаясь на молодость обвиняемого, на горячую кровь, на соблазны холостой жизни – все это было грубоватой пародией на попустительство короля. Прокурор произнес звериной силы речь, переборщив и потребовав смертной казни. «Последнее слово» подсудимого внесло совсем неожиданную нотку. Истомленный долгим напряжением, измученный вынужденным барахтанием в чужих мерзостях и невольно потрясенный громами обвинителя, бедный доктор вдруг сдал, нервы его дрогнули и после нескольких непонятных, слипшихся фраз он каким-то новым, истерически ясным голосом вдруг стал рассказывать, что однажды в молодости, выпив первый в жизни стакан хазеля, согласился пойти с товарищем в публичный дом, и только потому не пошел, что упал на улице в обморок. Это свежее и непредвиденное признание вызвало в зале долго не смолкавший смех, а прокурор, потеряв голову, попытался зажать рот подсудимому. Затем присяжные, молча покурив в отведенной им комнате, вернулись, и приговор был объявлен. Доктору онзе предлагалось тринадцать с половиной лет каторжных работ.

Приговор был многословно одобрен печатью. При тайных свиданиях друзья жали руки мученику, прощаясь с ним... Но тут, впервые в жизни, неожиданно для всех и, может быть, для самого себя, старый Гафон поступил довольно остроумно: пользуясь своим неоспоримым правом, он доктора онзе помиловал.

Итак, первый и второй способы воздействия на принца ни к чему, в сущности, не привели. Оставался третий – решительнейший и вернейший. Все, что говорилось в окружении Гумма, было исключительно направлено к тому, чтобы эту последнюю меру осуществить, хотя настоящее ее имя, по-видимому, не называлось: эвфемизмов у смерти достаточно. Кр., попавший в сложную конспиративную обстановку, не отдавал себе отчета в том, что происходит, и причиной этой слепоты была не только неопытность молодости, так вышло еще и потому, что, неволью (и совершенно ложно) считая себя зачинщиком (т. е. вовсе не догадываясь, что он в действительности только почетный фигурант – или почетный заложник), Кр. никак не мог допустить мысль, что начатое им дело окончится кровью, – да дела в настоящем смысле и не было, ибо, с отвращением изучая жизнь принца, Кр. смутно полагал, что тем самым он у же совершает нечто важное и нужное, – и когда, с течением времени, ему несколько прискучили это изучение и постоянные разговоры все о том же, он, однако, принимал в них участие, добросовестно держался опостылевшей темы, все продолжая считать, что исполняет свой долг и содействует какой-то не очень ясной ему силе, которая в конце концов волшебным образом превратит невозможного принца в приемлемого наследника. Если и случалось ему думать, что хорошо бы Адальфа заставить просто отказаться от престола (а иносказания, вероятно употреблявшиеся заговорщиками, могли невзначай принять и такую форму), то этой мысли он, как ни странно, не доводил до конца – до себя. В продолжение почти двух лет промеж университетских занятий постоянно общаясь с круглым Гуммом и его друзьями, он незаметно для себя запутался в очень тонкой и частой сети, – и может быть, принудительная скука, им ощущавшаяся все яснее, была не простой неспособностью (впрочем, свойственной его природе) долго заниматься вещами, постепенно обрастающими покровом привычки, за которым он уже не различал лучей их страстного возрождения, а была намеренно измененным голосом подсознательного предупреждения. Между тем начатое задолго до его участия дело уже приближалось к своей красной развязке.

В холодный летний вечер он был приглашен на тайное собрание, и так как в этом приглашении ничего необычного не было, он туда и явился. Правда, ему вспоминалось потом, с какой неохотой, с каким тяжелым ощущением навязанности он отправлялся на сходку; но с такими же чувствами он приходил и раньше. В большой, нетопленной и как бы условно обставленной комнате (обои, камин, буфет с пыльным пивным рогом на полке – все казалось бутафорией) сидело человек двадцать мужчин, из которых он не знал и половины. Тут в первый раз он увидел доктора Онзе: мраморная лысина с впадиной посредине, густые светлые ресницы, мелкие рябины над бровями, рыжеватый оттенок скул, плотно сжатые губы, сюртук фанатика и глаза рыбы. Застывшее выражение покорности и просветленной печали не украшало его неудачных черт. К нему обращались с подчеркнутым уважением. Все знали, что после процесса невеста с ним разошлась, сославшись на то, что вопреки рассудку она все продолжает видеть на лице несчастного след марких пороков, в которых он за другого признался. Она скрылась в дальнюю деревню, где всецело ушла в школьное дело, а сам доктор Онзе вскоре после события, которому это заседание предшествовало, удалился в небольшой монастырь.

Среди присутствующих Кр. еще отметил знаменитого юриста Шлисса, нескольких фрадских депутатов пеплерхуса, сына министра просвещения... На кожаном диване неудобно поместились три долговязых и мрачных офицера.

Свободный венский стул нашелся около окна, на подоконнике которого ютился маленький, особняком державшийся человек с простоватым лицом, вертевший в руках фуражку почтового ведомства. Кр., близко к нему сидевшего, поразили его громадные, грубо обутые ноги, совершенно не шедшие к его мелкой фигуре, так что получалось нечто вроде в упор снятой фотографии. Только потом он узнал, что этот человек был Сиен.

Сначала Кр. показалось, что собравшиеся занимаются все теми же разговорами, к которым он уже привык. Что-то в нем (опять-внутренний друг!) даже захотело с какой-то детской горячностью, чтобы это собрание не отличалось от всех предыдущих. Но странный, противный жест Гумма, вдруг мимоходом положившего ему руку на плечо и загадочно кивнувшего, сдержанное, как бы замедленное звучание голосов, глаза офицеров, сидевших поодаль, заставили его насторожиться. Не прошло и двух минут, как он уже понимал, что в этой бутафорской комнате холодно разрабатывается уже решенное убийство принца.

Он почувствовал дуновение у висков и ту же, почти физическую, тошноту, которую

Незавершённый роман. Владимир Владимирович Набоков [nabokovvladimir.ru](http://nabokovvladimir.ru) однажды испытал на вечере у двоюродного брата. По тому, как молчаливый человек на подоконнике взглянул на него (с любопытством, с насмешкой), Кр. понял, что его замешательство заметно. Он встал, и тогда все повернулись в его сторону, и ежом остриженный, тяжелый, толстый человек, осыпанный перхотью и пеплом, говоривший в эту минуту (Кр. давно уже не слышал слов), осекся. Он подошел к Гумму, который выжидательно поднял треугольные брови. «Должен уйти, – сказал Кр., – мне нездоровится, – думаю, что мне лучше уйти». Он поклонился, кое-кто вежливо приподнялся, человек на подоконнике улыбаясь закурил трубку. Приближаясь к двери, Кр. с кошмарным чувством думал о том, что она может быть нарисована, что ручка нарисована тоже, что отворить ее нельзя. Но вдруг она превратилась в настоящую дверь, и, сопутствуемый каким-то юношей со связкой ключей, тихо вышедшим в ночных туфлях из другой комнаты, он спустился по длинной и темной лестнице.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!